

ВСЕМИРНЫЕ

ОДЕССКІЯ НОВОСТИ

газета политическая, литературная, научная, общественная и коммерческая.



Въ клубъ "Юніонъ"
состоится

Концертъ Маріи Ивановны Долиной

Анонсъ. состоится только въ залъ новой биржи
Въ этомъ домѣ вь стражи

ГАЗЕТА ВСЕМИРНОГО КЛУБА
ОДЕССИТОВ

№ 1 (60)

Декабрь '05 — январь '06.



Есть имена, ставшие символом нашего города. К ним, безусловно, относятся супруги М. С. и Е. К. Воронцовы. Актом кощунства было не только уничтожение собора в тридцатые годы. Но и перенос праха Воронцовых к забору Слободского кладбища. Причем делалось это втайне, крадучись, с боязнью людского ока.

Давно одесситы нашли эти могилы. Ухаживали за ними. Но только в этом году, когда завершается возрождение собора, пришло время торжественно и печально — всем городом — перенести тела великих деятелей нашего города к месту их первоначального упокоения.

Письмо-приветствие, письмо-благодарность прислал одесситам прямой потомок знаменитого князя, живущий сейчас в США, Александр Воронцов.

Во Всемирный клуб одесситов Поздравляю!

Поздравляю Всемирный клуб одесситов с получением высокой награды!

Большое спасибо всем, кто причастен к выпуску Альбома. Получил огромное удовольствие, просмотрев альбом. Желая родному Клубу новых успехов в деле объединения всех одесситов.

С уважением,
Всеволод Верник
seva37@mail.ru

Во Всемирный клуб одесситов

Я пишу о том, что и во многострадальной Франции есть наши. Не горят и не жгут. А какая страна ближе Одессе, если не Франция? Тем более Марсель.

Мы тоже остаемся одесситами и гордимся этим. Несмотря на то, что моя фамилия слегка изменилась за последние лет 13, эта фамилия тоже имеет отношение к истории Одессы. Предок моего мужа не прошел мимо в свое время, как и мой муж, впрочем. Только предок инспектировал французский полк, а у мужа были слегка другие интересы.

В одесском миру меня знали под именем Ирина Афонина. Может, помните КВНы 80-х годов и команду молодых учителей? Скоро годовщина наших игр.

А кто учился в школе 10, называл меня Ирина Алексеевна.

Сейчас я — de Dreux Breze, но это мало что меняет.

Я много работаю с Украиной, Россией, Молдовой... И продукция наша еще никого не отталкивала: коньяк, шампанское, французские вина.

Очень буду рада контактам с компаньонами. Наша нация, ОДЕССИТЫ, тем и сильна, что мы держимся вместе.

С наилучшими искренними пожеланиями и уважением к вам и вашим коллегам, которые соединяют всех нас. Спасибо.

Ирина Афонина — de Dreux Breze
i.de_dreux_breze@tiscali.fr

Во Всемирный клуб одесситов

Валентине Толубовской — королеве класса
Здравствуй, Валя!

С огромной радостью увидела твое имя в числе авторов статей. Помнишь школу и класс 10 "Б", и маленькую испуганную девочку, приехавшую в 9 "Б" класс с дальнего севера и нашедшую в твоём лице искреннюю поддержку и дружбу в то тяжёлое для меня время? В 1977 году я с семьёй эмигрировала в Америку, где и сейчас проживаю с мужем. С замираньем сердца прочла твою и Евгения статью о Лине Шац. К сожалению, будучи в Италии, нам не удалось с ней встретиться. На фотографии ты мало изменилась: особенно глаза.

Лора Цимберг (Фельдмус)
USA California
lgsimber@pacbell.net

Во Всемирный клуб одесситов

Наша связь с Одессой...

В 1900 году семья итальянцев Энглянди приехала в Одессу и открыла сигаретную фабрику. Один из сыновей Энглянди женился на Марфе Ивановне, и в 1922 году у них родился Андрео Энглянди. Вскоре отец ребенка умирает от тифа, а Марфа Ивановна в бедственном положении переезжает с сыном на Молдаванку. Все родственники-итальянцы покидают Россию. Будущий художник с пятилетнего возраста попадает в воровскую шайку, но духовно не смиряется с этим и ищет свою "правду". Дружит в это время с Ароном Тененгисом и Ивией Шенкером. Вскоре открывается на Молдаванке Дом пионеров, и дети начинают учиться у Антонио Дивари и Цейтлина. Дивари ведет детей в музей, где Андрео Энглянди увидел великого Костанди и понял, что "ПРАВДА В СВЕТЕ ВЕСНЫ", этому Гландин был верен всю свою жизнь.

Шенкер рассказывал, что два друга всюду рисовали, и часто рисовали, полужа на Дерibasовской, а прохожие аккуратно переступали их длинные ноги. Начались публикации об одаренном юноше в газетах и журнале "Юный художник". Андрео оказывают попечение бездетные итальянские консулы синьоры Первано и любят его, как собственного сына. Они дали мальчику хорошее образование и воспитание и хотели забрать с собой в Италию, оформили все документы, но сердце матери не выдержало, и она забрала его с отплывающего корабля. Синьорам Первано Гландин благодарен всю жизнь, и посвятил им несколько картин. Об одаренном юноше узнал Буденный и пригласил в Москву с картинами.

Воевал Андрео Энглянди в Сталинграде, в самом пекле — на Мамаевом кургане. Ему изменили на фронте фамилию и имя на Алексея Гландина.

Сам Трабарт следил за судьбой Гландина и направил его в одесское училище сразу на второй курс. Там Гландин встретился со своей богиней, Д.М. Фрицкой. Мудрая Дина Михайловна первая догадалась о всепоглощающем чувстве, охватившем худого высокого фронтовика Алексея Гландина и молоденькую красивую еврейскую девушку Ивету Салганик. Со слов Дины Михайловны, чувство было такого накала, что молодые люди не могли взглянуть друг на друга. И мудрый педагог заперла их в аудитории, чтобы познакомились.

Потом молодые супруги поступили в Ленинградскую академию, и там родился Ленечка Гландин, который сохранил творческое наследие своих родителей.

Елена, Леонид Гландин
glandin@mail.ru

Во Всемирный клуб одесситов Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, существует ли какое-нибудь издание, книга с иллюстрациями об Одессе, об истории Одессы? Если такое издание существует, где его можно приобрести? Неодолжимо для подарка очень хорошему человеку, который рожден был в Одессе, но уже много лет проживает в Америке. Заранее благодарна вам...

Я живу в Донецке. Но есть возможность заказать книгу из Киева, Москвы. В Одессе, к сожалению, никого нет. Если вы сможете отправить почтой, я смогу бы вам оплатить доставку. Но прежде всего я бы хотела узнать, что

за книга? Есть ли такая возможность?..

Я думаю, достойным подарком будет альбом "Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях". А диск идет приложением к этому альбому или диск — это скопированный альбом? Если на диске есть отдельная информация, которой нет в альбоме, то есть смысл купить и диск.

Еще бы я купила с удовольствием какой-нибудь календарь на 2006 г. в 3-4-х экземплярах, настольный, настольный с видами Одессы.

Буду вам благодарна, если вы перешлете альбом и два самых красивых календаря на 2006 г. (с видами вашего замечательного города — может быть, и одинаковых).

Жду вашего ответа.

С уважением,
Оксана Шкуратова
isd1@isd.com.ua

Во Всемирный клуб одесситов

Привет, Леонид! Спасибо за письмо. Визит М.М. Жванецкого состоится 9 декабря. Он прилетает. Потом встреча с руководством Муриланской области, а в 19.00 он приглашен на встречу нашего клуба в Голубую гостиницу обл. ДК им. Кирова. На другой день — посещение авианосца с утра, в 17.00 — концерт, а в 19.00 — в ресторане встреча с выпускниками ОИИМФ.

Тригорий
mildov@mail.ru

Во Всемирный клуб одесситов

Наконец-то! Очень рад самому факту появления замечательной поэтессы Тани Очеретян на вашем сайте. Хорошо бы еще увидеть на главной странице одно из ее стихотворений — они ведь такие короткие и прекрасные одновременно!

Михаил Чулок
mikhailchulok588@hotmail.com

**Если вас интересует
жизнь Одессы и одесситов,
где бы они ни жили,
если вас интересует
творчество ваших земляков,
смотрите сайт
Всемирного клуба одесситов
www.odessitclub.org**

Из Бостона, США, во Всемирный клуб одесситов от Сергея Федотова (отрывки из письма)

Уважаемая редакция!

Переименование улиц продолжается, и я хотел бы подсказать ряд тем:

1. Восстановить название "Внешняя улица". Раз есть Старо-портофранковская, то естественно иметь и Внешнюю. Имя Мечникова носит университет, кроме того, название улицы Мечникова нужно сохранить от Праховской улицы до Чулки, тем более что улица как раз этим самым сквером прерывается.

2. Переименовать Мельницкую ул. в Мельничную, как исторически и было, что легко определить по любой старой карте. Никогда Мельницкой улицы в Одессе не было, кроме того, улица так названа не в честь мельников, а по названию района, в котором она находится. Прилагательное от "мельницы" — "мельничный" (аналогично "пшеница" — "пшеничный"), "мельницкий" — прилагательное от слова "мельник".

3. По этой же причине переименовать Колоническую улицу в Колонистскую. Впрочем, пп. 2 и 3, по сути, являются не переименованиями, а исправлениями грамматических ошибок.

4. Переименовать станции Большого Фонтана в станции Фонтанской дороги по аналогии с Люстдорфской и Хаджибейской дорогами. Одновременно вернуть городу Малый Фонтан, для чего переименовать трамвайную остановку "Санаторий Россия".

5. Переименовать часть Среднефонтанской улицы, устранив возникшую после постройки скоростной дороги неопределенность с названиями.

6. При присвоении наименований руководствоваться нормами языка, согласно которым прилагательное предшествует существительному. Поэтому никаких "площадь Соборная", "перекресток Высокий" и тому подобного, в изобилии появившегося в начале 90-х, быть не должно. В конце концов, мы не говорили и не пишем "Фонтан Большой", "Мельницы Ближние", "милан Хаджибейский", "вокзал морской" или "море Черное".

7. Вернуть Ленинградской улице ее историческое название Петропавловская. Ленинградская блокада останется увековечена в названии улицы Оборона Ленинграда.

8. Переименовать Ленинградское шоссе в Киевское.

Одесский дом в Регенсбурге

Полное его название "Интернациональный Одесский дом в Регенсбурге"

И у него юбилей. Первый. Пятилетний.

И с первого дня создания Дома его организатором и по сегодняшний день президентом является бывшая одесситка, теперь постоянная жительница города-побратима Южной Пальмиры Регина Михайловна Тульчинская.

— Почему бывшая? — сразу же протестует Регина Михайловна, — бывших одесситов не бывает. Они только разъезжаются по всему миру, но в действиях — едины...

Когда Одессу строили, немцев-колонистов пригласила Екатерина II. Строили баварцы и хутора вокруг Одессы, занимались земледелием, чтобы кормить строителей и воинов-оборонителей, да и сами строили порт и город, мануфактуры и предприятия. По производству силиката, свеч, мыловарению. А пивзаводы такие возвели, с такой новой технологией, что заимствованные сорта хмельных напитков "Мюнхенского", "Баварского", "Венского" скоро по качеству Одесса стала выпускать лучшими в Европе и на Дальнем Востоке, куда они экспортировались...

Когда же Одесса и Регенсбург породнились...

Уверена, одесситы много раз видели микроавтобусы "скорой помощи" и реанимации с надписями "подарок Регенсбурга" и конвои с гуманитарной помощью (лекарства, медоборудование, одежда, обувь, продукты — тоже из Регенсбурга).

Сейчас вот в Одессу приехал иерарх протестантской церкви по поводу восстановления на средства

немцев — протестантов и лютеран — построенной кирхи. Теперь, тоже на их средства, будет она восстановлена за два года...

— Замечательная история. Но прежде всего, Регина Михайловна, поздравляю с первым юбилеем. Первый, он, как известно, трудный самый, ведь начинать всегда труднее, чем идти в фарватере пионеров. Как возникла сама идея, чем она вдохновила вас? Что, инженер-мебельщик, имея в Регенбурге работу по специальности, предпочла общественную деятельность, благотворительность и волонтерство, что далеко не всегда благодарно, даже рискованно?

— За поздравление — спасибо. Отвечу по-одесски: если не я, то кто же?

Так получилось, что перст судьбы остановился на мне — по организации Одесского дома.

Перст судьбы — он от влияния, позиции моего отца, мужа. Отец, будучи военным моряком, в 41-м защищал Одессу, в 44-м освобождал ее. Понятно его особая любовь к городу, его людям, особый одесский патриотизм интернационального звучания.

Это и поддержка задумки друзей семьи еще со времен проживания в Одессе Виктора Шардакова и Михаила Дорфмана. Когда приехали, осмотрелись в Регенсбурге, познакомилась с организаторами конвоев гуманитарной помощи Одессе Хайнерсом Дорфером и господином Тройдлом, делающими это только не из меркантильных побуждений — по велению сердца, бескорыстно, — как же я, одесситка могла не подставить им и свое плечо? Тем более если оно будет подкреплено единомышленниками создаваемого Одесского дома?!

— Круг деятельности организации? — Он обширен, многовекторен. Ес-

ли кратко: интеграция и партнерство. Начинать с помощи переселившимся землякам в адаптации, изучении немецкого языка, работе на компьютере, занятиям на курсах по интересам, спортом, самодеятельностью.

Дом организовал или принял участие в организации более 20 концертов, принимал Киевский театр на Подоле со спектаклем "Медведь" по А. Чехову. Ждем не дождемся артистов из Одессы.

А покамест больше ориентируемся на собственные силы, рекламируя Одессу.

Силы для этого имеем. И недюжинные. Песни и танцы, анекдоты одесского многонационалия. Спросите об украинских номерах? И такие представлены в репертуаре. Выпускник ОГУ Валерий Костин (выпускник романо-германского факультета) преподает в Регенсбурге немецкий для...

немцев — хорошую подготовку дает Одесский университет! — в его студенческом багаже много украинских народных песен. "Дивлюсь я на небо", "Ти ж мене підманула", "Ніч яка зоряна", "Ой, чорна, мов циганка" исполняет на бис... Украинские и русские народные поют и преподаватель Марина Пищулина, врач Алексей Мокриевский, педагог Светлана Тучинская, инженер Владимир Песин.

Есть среди переселенцев и свои писатели. Новую книгу стихов издал Леонид Норкин, книгу прозы "Жизнь, отданная морю" — Игорь Гончарук

Есть и ученые, и авторитетные преподаватели вузов: профессор Эрвин Ведель, выпускница ОГУ доцент Людмила Дидык.

— С кем контактирует "Одесский дом" в своей деятельности?

— Назову клуб "Далеко от Дюка". Его руководитель Рима Самойленко организует встречи с известными

земляками. В частности, бывшим КВНщиком, "джентльменом" Яном Левинзоном, Михаилом Жванецким. Кстати, Жванецкий — Почетный член нашего Дома.

Культура — это не только концерты, презентации, спектакли, но и демонстрация мод из Украины, выставки кулинарии с пирогами "как у одесской мамы", художественная гимнастика... В их организации имеем поддержку добровольных энтузиастов.

Имеем поддержку и церкви. На христианские праздники поют псалмы члены нашего Дома. На немецком, украинском, русском, идиш и других языках, как в Одессе. Ведь Господь приемлет славу на всех языках и наречиях, лишь бы шли молитвы от души...

— Регина Михайловна, судя по сказанному вами, вы имеете поддержку местных властей Регенсбурга?

— Безусловно. Прежде всего — в предоставлении помещений, отчасти финансовую. За это спасибо обербург-гомистру господину Хансу Шайдингеру, его заместителям-бурггомистрам. Кстати, имеем поддержку и консула Украины в Мюнхене Валерия Степанова.

И — поддержку СМИ. И немецкоязычных, и русскоязычных — "Русская Германия", "Маленькая газета". СМИ помогил собрать одесситов диаспоры не только из Германии, но и из США, Израиля, Испании, Эстонии в Берлин на празднование очередной годовщины рождения Одессы. Кстати, в Берлине по нашему примеру тоже откуют "Одесский дом".

— Что сейчас главное, определяющее в деятельности Одесского дома?

— Налаживание конкретных деловых контактов между предпринимателями, финансистами городов-побратимов. Немецкие бизнесмены должны

знать о нуждах Одессы, местах выгодного вложения капитала, потребностях социально незащищенных групп населения. Что до последнего — имеем сдвиг, увожу договоренности о взаимодействии с благотворительными одесскими фондами "Молодой инвалид" и "Держава".

— Регина Михайловна, знаю, вы побывали в двух управлениях горисполкома — внутренней политики и зарубежных связей. Ознакомились с идеей Дома по созданию в Регенсбурге одесской миссии для озвученных целей. Знаю уже о позиции начальника и заместителя начальника управления внутренней политики Н. Чайчук и Г. Федоровой, высказанной журналистам. Идея заслуживает внимания, безусловно, получит поддержку исполкома в конкретизированных проектах и бизнес-планах.

— Да, разговор не окончен. Нужны конкретные предложения с соразмерением сил и возможностей.

В том числе и с нашей стороны. Так что, по приезде посоветуемся с депутатами города и активистами Одесского дома, выработаем встречные предложения.

— Странно, многое делаете для Одессы, рекламируя ее, а сами даже ничего не попросите от города.

— Почему же, прошу: определиться в вопросах помощи себе, налаживании обоюдывыгодного сотрудничества.

Пожалуй, есть и просьба: помочь в создании библиотеки, прежде всего книг местных авторов на украинском, русском и других языках, выпускаемых местными издательствами.

— Вам — пожелание новых успехов, а еще, чтобы по вашему примеру создавались новые Дома, как в Берлине, чтобы сбылось обоюдное желание сотрудничества с одесским благотворительным фондом "Ветеран".

— Спасибо. Мира и добра Одессе!

Григорий ЯРМУЛЬСКИЙ.

Михаил ЛАНДЕР

Кубинский синдром

*Pobre la paloma mia,
Como te amo!
(Кубинская народная песня)*

Как только на Кубе произошел государственный переворот, и во главе стал "команданте" Фидель, потекли на Кубу из СССР грузовые потоки с продовольствием, техникой, специалистами и советниками. А как же! Новый опорный пункт социализма под носом Америки. Покажем Америке кузькину мать! Портрет бородатого Фиделя красовался во всех советских газетах. Когда он впервые летел в Москву, то промежуточная посадка была в Мурманске. На площадке был митинг. Еще не привыкший к советским облобызаниям, Фидель явно был смущен, а впервые увидев снег, зябко поеживался в своем френче. Кто-то из подводников подарил ему корабельную меховую куртку с капюшоном и шапку-ушанку, кто-то из летчиков — белые унты. Коротенький митинг, посвященный первому знакомству "команданте" с советской землей, закрылся, немногочисленная толпа присланных военных и студентов разошлась, площадь оголела.

Именно оголела, ибо окружавшие площадь многолетние голубые ели были до начала митинга вырублены под корень из-за соображений "безопасности гостей". Министерству морского флота была поставлена внеочередная задача — обеспечить бесперебойную доставку грузов. Капитаны судов проложили курсы на остров Свободы, как горделиво объявил о новом названии "команданте". Мощная киловаттная радиостанция, построенная братской ГДР, кричала на всю Атлантику:

— Говорит Куба, остров Свободы — единственная свободная территория Америки — "Тьерра Либрэ".

Но с таким наплывом грузов ни один кубинский порт не справлялся из-за слабой техничности. Встал вопрос о модернизации портов, а это потянуло за собой доставку новых специалистов и новой техники, и конечно, морским транспортом. И все бесплатно, безвозмездно. Досталось и пассажирскому флоту дважды в год перевозить кубинских студентов туда и обратно. Обычно к этим рейсам привлекался покойный пароход "Адмирал Нахимов" и старая "Грузия", как говорили капитаны этих судов: "плавающие бордельеры".

Да, любила наша бывшая родина искать родственников по свету.

Помните? "Русский, китаец — братья навек". А "хинди — русси, бхай, бхай". И всем все бесплатно. Теперь кубинская идиллия — построить социализм за океаном, наша страна богата. Хрущев принародно облобызал Фиделя, объявив его братом навек. "Вива Куба. Лос амигос пара ун сигло". Вначале наши капитаны не поняли, как это можно месяцами ожидать разгрузки и не оформлять акты за простой. Посыпались многочисленные жалобы гос-радиограммы, но Москва ответила — молчать! и по этому вопросу больше не обращаться. Вне очереди выгружались только суда с продовольствием или из капиталистических стран. Вообще доходило до курьезов. Если в одном трюме продовольствие, а в других техника, выгружали только продукты и выгоняли на рейд. Суточный простой среднего парохода — \$2000-2500. Капитаны прозвали такие рейсы государственным отпуском — рыбалка, купание, прогулки по городу. Правда, денег платили мало по сравнению с моряками других стран, но на мелкие сувениры хватало. Наши матросы быстро смекнули, что в аптеках дешевый тростниковый спирт, и сразу их опустошили. На набережной Меликон проститутки, просившие "ун песо", быстро узнали о наших правилах и кричали нам вслед: "Русо импотенто!"

Но несмотря на все взаимоотношения между странами — политические, экономические, национальные — людям присуще все человеческое. Они знакомятся, влюбляются, женятся, и никакие государственные препоны им не могут помешать. А если мешали, то оставались "дети разных народов". Мои знакомые — он палестинец, она еврейка — вынуждены были покинуть родные места и поселиться в Лос-Анджелесе. Эта процветающая пара уже дедушка и бабушка, но любят друг друга как в юности. Но все вышесказанное — это преамбула к маленькому дальнейшему повествованию.

Для улучшения работы флота в Гавану в качестве морского уполномоченного направили капитана Володю Чистякова, опытного моряка и хорошего организатора.

Он ввел жесткие нормы и круглосуточную работу. Он был вездесущ.

Кубинцам, несмотря на строгость, он понравился, и они подарили ему огромный пистолет. В личной жизни у него была драма. Он женился на школьной соученице. Ее родители предупредили его, что она психически не

совсем здорова. Но любовь к ней превысила здравый смысл, и он женился. Через пару лет она подожгла квартиру и попала в психушку. Сгорело все, кроме стен. Володя восстановил квартиру, забрал ее из больницы и нанял специального человека ухаживать за ней, поселил к себе ее родителей. Через несколько лет она ночью снова устроила пожар и выбросилась из окна пятого этажа. Родители чудом уцелели. Володя срочно вылетает из Гаваны в Одессу на похороны. На могиле своей Верочки он устанавливает обелиск с надписью: "За что?" — и возвращается в Гавану. Все это Володя Чистяков рассказал мне в знаменитом ресторане "Тропикана", куда вход для советских моряков был "табу", но ему разрешались деловые встречи.

С каждым рейсом на Кубу я замечал, как тускнеет Гавана, ничто не ремонтируется, осыпаются фасады некогда феешенебелных зданий. Бывшие владельцы острова увеселений переориентировали свои вложения в развитие Флориды. Двести тысяч проституток остались без работы. Их посадили на трактора, такси и загнали на плантации. Часть из них доплыла до Флориды. На Кубе ввели карточную систему. Разочарованные в социализме кубинцы стали бежать, используя любые плавсредства.

Однажды Володя привел с собой очаровательную кубинку, видимо, креолку. "Знакомьтесь — это Паола, моя экономка". Я их принимал в своей каюте. Паола знала по-русски не более десятка слов. Но Володя к этому времени прилично овладел испанским. Жил он в районе Форто Морро, в одном из брошенных владельцами особняков. Паола и ее отец-сандовник жили в левом крыле дома. Она убирала, готовила Володе завтраки и ужины и вела все хозяйство. Иногда накрывала столы для деловых приемов. Новый "хозяин" пришелся Паоле по душе. Симпатичный, светловолосый, всегда улыбающийся, он был вдвое старше ее. За все говорил спасибо и очень уважительно к ней относился, не то что бывший владелец дома, с вечно брезгливой ухмылкой и похотливыми шутками. На все праздники Володя дарил ей цветы и конфеты. Иногда приглашал в кафе или ресторан. От шофера он отказался и водил машину сам.

В район Форто Морро в конфискованные особняки поселилась элита кубинских революционеров, которые по вечерам, хватив лишнего бакарди, палили из пистолетов и

орали до утра песни. Появление красавицы-креолки в сопровождении "мачо русо" их раздражало. Постепенно отношения Владимира и Паолы перешли в привязанность и, конечно, в близкие отношения. Паола забеременела, и Володя подал в консульство прошение на оформление брака с кубинкой. Пока тянули с рассмотрением, Володя вызвали в Москву с отчетами. Там ему объявили, что за близость с иностранкой его дальнейшее пребывание на Кубе нежелательно, его служебный паспорт аннулируется, и за границу его больше не выпустят.

Володя возвращается в Одессу. В пароходство его обратно не берут. Он с трудом устраивается сторожем. Дозвониться к Паоле он не может — там отключен телефон. Хорошо, что он оставил ей все свои сбережения и завез запас продуктов. Володя засыпает письмами Кубинское консульство, МИД СССР — бесполезно. Как-то я встретил Володю на улице — он очень изменился, осунулся. Мы зашли в ближайший кафе. Он сказал, что по имеющимся сведениям у Паолы родился сын. Узнав, что у меня будет рейс через Барселону, попросил меня опустить там письмо. Я, конечно, его просьбу выполнил. Через год развалился Советский Союз, рухнула вековая дружба с Кубой. Король оказался голым и нищим. Куба затянула пояс.

Вскоре Украина плюнула на старшего брата. Наступили новые времена. Володя продаст свою роскошную квартиру в Красном переулке и покупает какую-то развалюху за городом, оформляет туристическую поездку в Канаду. Перед отъездом мы посидели в "Красной", утром Володя улетал. На прощанье мы обнялись, зная, что больше не увидимся. Рейсов на Кубу не будет. Володя был как всегда чисто выбрит, при галстукке, со знакомым запахом одеколона "Гавана".

"La mano del amigo es mas importante que el rap", — сказал он по-испански. "Рука друга — важнее хлеба".

В Канаде он без труда получил визу на Кубу и вылетел ближайшим самолетом в Гавану. Там он обратился с заявлением к самому "команданте". Испуганное развалом соцлагеря кубинское правительство без промедления предоставило Володе гражданство и оставило за ним прежний дом. Венчание было в соборе Сан-Висент. Сыну Мигелю (в мою честь) было уже семь лет.

Будучи уже в Чикаго, мы несколько раз перезванивались. Потом родилась дочь Паулина. Мигель пошел по стопам отца — окончил в Гаване мореходное училище, где Володя заведует кафедрой. Паулина кончает гимназию. Сейчас нас разделяет всего девяносто миль.

Майами, июнь 2005.

Марлена СТЕЦЕНКО

У нас было «счастливое детство»

Это письмо-рассказ-воспоминание передала в редакцию член Всемирного клуба одесситов Валентина Бронз. Это о ее семье написала ее двоюродная сестра.

Милая моя, родная! Я пишу тебе эти письма, зная, что никогда они не будут прочтены тобой. Это обращение к тени, к твоей невинной душе. Мне кажется, что какая-то ниточка нас связывает в этот момент, я говорю с тобой, родная, делюсь с тобой, вспоминаю...

Почему я начала писать? Я видела тебя во сне сегодня, ты была такая юная, красивая, я так отчетливо разглядела во сне твои добрые глаза, светлые волосы, милую улыбку. Ты была такой, какой я запомнила тебя на всю жизнь, дорогая моя мама. Нас разлучили, когда мне было шесть лет, а брату моему Боречке — двенадцать.

Осень, ночь с 17 на 18 октября 1937 года. Звонок в дверь. Ты пошла открывать ее, так как папы дома не было, он находился в больнице в Москве. Вошли шесть человек. Помню, ты сидела в нашей гостиной напротив моей кровати, и я из спальни в открытую дверь видела твое лицо, бледное, прекрасное, встревоженное. До утра молодчики обыскивали нашу квартиру, рылись в ваших книгах, журналах. Как мне потом сказал папа, искали портреты уже репрессированных: Блюхера, Тухачевского, Якира. "Черный ворон" стоял под нашими окнами, ждал. Тебе, родная, не разрешили попрощаться с нами, с детьми, которых ты так любила! Помню, как ты просила разрешения поцеловать нас, но молодчики торопились, они и так потратили много времени, роясь в папиных книгах по истории и в твоих — по литературе. Им нужно было успеть осиротить еще не одного ребенка, сделать несчастной еще не одну семью, а приближалось утро...

И вот, мамочка, наше счастливое детство закончилось. Остались мы с Боречкой вдвоем в холодной пустой квартире, двое сирот, брошенных детей. И никого не интересовало — что же будет с нами? Кто позаботится? Кто утешит?

Через некоторое время приехал папа, больной, после тяжелой операции, подавленный, убитый горем. Его уволили из школы как мужа врага народа. Через неделю после того, как арестовали тебя, мамочка, так же ночью был арестован Борин отец — Владимир Петрович. Через несколько дней "черный ворон" увез нашего соседа по коммунальной квартире — Борисова. Соседи в нашей квартире притихли, стали разговаривать шепотом, боялись подолгу беседовать между собой, всех охватил ужас.

Мамочка, милая, как нам стало тяжело жить! Боречку взяла к себе тетя Шура — сестра Владимира Петровича. Нас разлучили на всю жизнь. Остались мы вдвоем с папой. Осень и зима 37-го года в Одессе были холодными. Папа болел, болели его раны, болела душа. Он ведь любил тебя, а надежды на то, что ты к нам вернешься, не было. Никто тогда не возвращался. Огромная машина поглощала безжалостно всех подряд. Как-то за одну ночь арестовали в Одессе всех людей, имеющих фамилию Каплан. Ежедневно исчезали тысячи бессмысленных жертв.

Холод, голод, безнадежность, тоска охватили нас с папой. Частными уроками папа понемногу стал зарабатывать на жизнь, я ходила в детский садик, неухоженная, слабая. Когда папа ездил в Москву хлопотать о тебе, меня брали к себе родственники: твой брат Костя с женой Илечкой или твоя сестра Люба. Дядя Костя и тетя Илечка были студентами исторического факультета университета, комсомольцами. Дядя Костя вынужден был сообщить на комсомольском собрании о том, что репрессировали его сестру, после

чего они вдвоем никак не могли сдать сессию, их "срезали" на экзаменах. Муж твоей сестры Любы, кадровый военный, тоже доложил начальству о том, что тебя арестовали. Его уволили из армии. Арестовали дядю Севу Левина — мужа твоей сестры Марии, и она с шестимесячным Марленом и восьмилетним Юрой приехали из Белоруссии в Одессу и тоже поселились у дяди Кости. В маленькой комнате в коммунальной квартире мы находились все вместе. Через некоторое время привезли Галочку — дочь дяди Кости от первого брака, ее маму тоже арестовали. Количество детей-сирот в нашей семье росло с каждым днем.

Мамочка! Помню, как я заболела гриппом, пришла к нам папина сестра Лиза, чтобы помочь нам: сварить еду, вытопить печь. И вот, возвратившись со двора, куда она ходила, чтобы вынести золу, она принесла твои фотографии. Кто-то из близких твоих друзей, живших в нашем дворе, выбросил их на помойку. Ведь ты была красавица, тобой все восхищались и любили тебя и, видимо, попросили подарить фотографии, а когда случилось с тобой несчастье, их выбросили, боясь, что из-за них можно пострадать. Бедные, несчастные, запуганные люди, жертвы страха, безысходности, рабства.

Утро, в квартире холодно, я лежу в холодной кровати, смотрю в окно. Два огромных тополя перед окном сплошь усеяны вороньем. Их крик наводит какой-то ужас. Папы нет, он, бедный, все хлопочет, Боречки нет, я одна, никого нет. На столе кусок хлеба, сахар, электроплитка и кружка, в которой я себе грею чай. Иногда заходит соседка тетя Франя, спросить, не нужно ли мне чего-либо. Она тоже боится заходить к нам. Ее муж — единственный оставшийся мужчина в нашей квартире. "Черный ворон" увез всех...

Периодически папа отводит меня к дяде Косте, чтобы тетя Илечка меня выкупала, покормила, пожалела. Эта чудесная женщина оставила в моей памяти самые теплые чувства. Ведь дети очень чувствительны, особенно сироты. Она искренне меня жалела, я любила бывать в их доме, где нашли себе приют еще четверо таких же сирот.

В нашем детском садике висит огромный портрет: наш дорогой и любимый отец и учитель, которого ежедневно надо благодарить за наше счастливое детство, — Сталин держит на руках румяную красивую девочку, то ли узбечку, то ли казашку. Девочка улыбается, она счастлива, я смотрю на эту девочку каждый день и завидую ей.

За всеми детками в садик приходят близкие, за мной приходит Аллочка, дочь твоей, мамочка, старшей сестры Анастасии. Аллочка учится в 8-м классе, ей поручено отводить меня домой.

Каждое лето наш детский садик переезжает на дачу. Это прекрасное время, я с теплым чувством вспоминаю его. Нас купают в море, мажут лиманской грязью нос и железы на шее, чтобы мы поменьше болели, у нас добрые воспитательницы. Но никто не может заменить мне тебя, родная. По выходным дням дети стоят у забора, ждут своих мам. Я тоже стою с ними, жду, но я стала забывать это слово, отвыкать от него, так как время идет, а тебя нет. Иногда приезжает Боречка, навещает меня, иногда приезжает папа, измученный, печальный. Навещает меня тетя Илечка, привозит фрукты и еще что-то вкусное. Взрослые думают, что я не знаю, где ты, родная, а я все знаю и делаю вид, будто ве-

рю им, что ты в больнице и скоро выздоровеешь и вернешься к нам. Когда я бываю у дяди Кости и у тети Илечки, я вижу, как дядя Костя, ложась спать, в манжет рубашки прячет фотографии тети Или и своих девочек — Галочки и Светочки. Это он делает ежедневно, так как знает, что когда придет "черный ворон", он уже не сможет спрятать фотографии своих любимых людей.

Закончилось, мамочка, лето. Дома опять холодно, неуютно, одиноко. Папа по несколько суток стоит в очередях, чтобы передать тебе чистое белье и еду. Очереди огромные, отлучиться, чтобы поесть или пойти в туалет, нельзя, так как в толпе не признают. Люди озлоблены, измучены, нервы их не выдерживают напряжения, страха, ужаса. Папа стоит



Вера

с Боречкой вместе, по очереди отлучаются. Когда удастся передать все, они приходят чаще всего к дяде Косте, так как я в это время нахожусь там, и подолгу рассказывают о том, как тяжело было выстоять 3-4 дня и ночи, как они пострадали. Помню, как однажды, после того как папа несколько суток зимой стоял в такой очереди, он с трудом добрался до квартиры дяди Кости, и в тот момент, когда ему открыли дверь, упал в обморок. Папу втащили в комнату, уложили в постель, укрыли, в ноги положили грелки, еле привели в чувство. За что все это, мамочка?

Папу вызывают на допросы, мучают, издеваются, спрашивают, была ли ты красивой, так как тебе придумали обвинение "сожительница японского консула". Они не могут позволить себе культурно выразиться, называть тебя любовницей. Называют унижительно сожительницей. Видимо, их фантазии иссякли, при-

думать что-либо более серьезное, например, "японская или английская шпионка", они не решились, так как чересчур много было уже тогда "японских и английских шпионов", а молодой красивой женщине почему бы не быть "сожительницей" японского консула, тем более что мы жили совсем близко от консульства.

Милая! Опишу тебе все, что мне известно о Боречкином отце. До нас дошли слухи, что Владимир Петрович не выдержал издевательств и избиений на допросах и через год умер в одесской тюрьме. В чем его обвиняли, что придумали для него, мы так и не знаем. Иногда я слышала, как папа говорил о нем с родственниками тихо-тихо, так как стены тоже уши имеют (любимое выражение несчастных советских людей).

Мамочка! Помню, как однажды после нескольких мучительных суток стояния в очереди на передачу папа принес твое белье для стирки. Среди вещей тетя Илечка обнаружила носовой платочек, подрубленный тобою несколько раз. Когда его распороли, прочли написанное химическим карандашом: "Я ни в чем не виновата, меня путают с какой-то другой женщиной. Обращайтесь в Москву, добивайтесь правды".

Бедная, ты не могла поверить в то, что тебе навязывают выдуманную любовную историю с японским консулом. Ты верила в то, что правда восторжествует. Ты не знала о том, что папа делал все возможное, чтобы спасти тебя: добивался приема у Ежова, писал во все инстанции о твоей невинности, порядочности, честности, но все это было совершенно бесполезно, безрезультатно.

И вот однажды передачу не приняли. Папа пришел домой очень расстроенный и сказал нашим родственникам: "Моей Веры нет, видимо, ее отправили на Колыму. До меня дошли слухи о том, что большую партию заключенных отправили на Колыму".

Ох, как тяжело стало жить! Надежды на твое, мамочка, возвращение таяли с каждым днем.

Прошел еще год. Я стала ходить в школу. Научилась сама себя обслуживать. Папа с моей помощью готовил еду на электрической плитке. Варили мы с ним макароны, картошку, кипятили чай. Три долгих года мы маялись вдвоем, тяжело было, ох, как тяжело! Вестей от тебя не было, папа ездил в Москву, все хлопотал о тебе и, наконец, мы получили сообщение о том, что ты, родная, осуждена на 10 лет без права переписки.** Десять лет!

**** А фактически мою маму расстреляли 19 марта 1939 года в Одессе, где она была тройкой приговорена к расстрелу.**

В 1957 году моя мама — Кудрицкая (Святенко) Вера Тимофеевна была реабилитирована посмертно за неимением доказательств преступления.

*** Кудрицкий Владимир Петрович реабилитирован посмертно в 1957 году за неимением доказательств преступления.**



Семейный портрет

Мамочка, милая, родная! Три года, ужасных, голодных, холодных, три года мы прожили вдвоем: больно, без руки отец и я, маленькая девочка с таким "прекрасным" именем — Марлена.

Однажды папа познакомил меня с женщиной, которую знал давно, сказал, что она добрая, хорошая, что она будет меня любить, украсит нашу жизнь. Ее мужа тоже арестовали в 1937 году. Папа мне рассказал позже, когда я повзрослела, что человек он был очень честный, коммунист, преданный партии, по специальности инженер-строитель. Здоровье у него было слабое, он страдал туберкулезом легких. В 1937 году от одного человека, который находился с ним в тюрьме в одной камере и чудом оказался на свободе, стало известно, что муж моей мамехи после очередного допроса умер, так как его очень избили. Ночью началось легочное кровотечение и к утру он скончался.*

Итак, мамочка, началась новая жизнь. В доме потеплело, стало чисто, уютно, пахло едой. Нам с папой стало легче жить, но на душе было тяжело. Я думала постоянно о том, как же будет, когда ты вернешься? Я не теряла надежду на твое возвращение. Папу я ни о чем не спрашивала, мы избегали разговоров о тебе, так как мы оба понимали, что положение наше безвыходное, нужно было как-то приспособиться, чтоб выжить.

Евдокия Степановна оказалась женщиной с крутым характером, черствой, по отношению ко мне совершенно безразличной. Чем я становилась старше, тем больше я это чувствовала. Слез мною было пролито много, мне очень тяжело было жить с ней. Ее плохое отношение ко мне было связано с тем, что папа не любил ее. Он не мог забыть тебя, а эта женщина, видимо, не могла забыть своего мужа. И вот, сошлись двое людей с искалеченной судьбой, совершенно разные по характеру, по интеллекту. Единственное, что их объединяло, это общее горе, потеря любимого человека. Какие в таком случае могут быть чувства друг к другу?

Началась война. Папу на фронт из-за руки не взяли. Всю войну мы жили в оккупированной Одессе. Боречка с тетей Шурой тоже находи-

* Дымченко Алексей Николаевич реабилитирован посмертно в 1957 году за неимением доказательств преступления.

лись в Одессе. После освобождения города Советской Армией его взяли на фронт, так как ему исполнилось 18 лет. В 1946 году Боречка приехал из Германии, где он после окончания войны еще год служил в армии. И вот мы с ним начали писать запросы о тебе Генеральному прокурору. Ответ приходил один и тот же: "Осуждена на 10 лет без права переписки". Я часами выстаивала под кабинетами в КГБ, все ждала, что мне скажут, так как не всегда ответы приходили по почте, чаще для сообщений вызывали. Повторялось одно и то же. На меня смотрели пустые, холодные, жестокие глаза, я слышала один и тот же ответ: "Осуждена на 10 лет без права переписки". И только в 1957 году мы узнали правду. Папа привез из Москвы справки о твоей, мамочка, реабилитации. Нам с Боречкой за наше искалеченное детство выдали по 600 рублей — два твоих последних оклада. Как трогательно, не правда ли?

Родная моя! Я опишу тебе все, что знаю о твоём брате Володе. Его тоже арестовали в 1937 году в Донецке, где он жил и работал, где жила его семья — жена и двое детей, Вилля и Леночка. Во время этапа ему удалось сбежать, что крайне редко бывало в те жуткие времена. Дядя

Володя был человеком смелым, отважным, сильным физически и духовно. Без паспорта, без единого документа он скитался, как бродяга, по деревням Сибири, зарабатывая на жизнь разными способами: чинил крыши в домах, строил заборы. Так как он был мастером на все руки, ему удавалось заработать нужное количество денег, чтоб себя прокормить. Когда началась война, дядя Володя как честный, глубоко порядочный человек явился в военкомат какой-то сибирской деревни и представился бродягой без роду и племени, но, как все советские люди, желающим идти на фронт защищать отечество. Его взяли на фронт, вначале в штрафной батальон, позже он отличился в боях, и отношение к нему изменилось. Всю войну дядя Володя находился на передовой, много раз был ранен, получил большое количество орденов и медалей. Его сын Вилля погиб на фронте. После окончания войны дядя Володя вернулся в Донецк к своей семье, считая, что его не будут преследовать. Но он глубоко ошибся. О нем не забыли. Через очень короткий срок его вызвали в КГБ, откуда он не вернулся. Восемь лет дядя Володя отбывал срок в лагерях на дальнем Севере. Благодаря очень хорошему здоровью, закалке он выжил. Позже его реабилитировали. Прожил дядя Володя долгую жизнь, умер в возрасте 83-х лет.

чего не знаю. У меня сохранилась его детская фотография.

Первая жена дяди Кости — Клава — была в 37-м арестована. Дяде Косте сообщили об этом, и Лида Марченко (она тогда была женой Фимы Миропольского) поехала, не помню, в какой город, и привезла Галочку. К счастью, Клава через год-два вернулась, ее освободили, и дядя Костя Галочку отвез к ней. Пока она была в заключении, мы с Галочкой жили у тети Или и Кости. Она постоянно, а я тогда, когда папа ездил хлопотать о маме и когда нужна была помощь (я очень часто болела).

Что касается вообще семьи Святенко, знаю, что семья была состоятельная. Все дети учились в гимназии. У дедушки Тимофея был собственный дом большой, была прислуга, был магазин. Он умер от холеры, а бабушка уже после смерти Швеца сбежала в Одессу, т. к. арестовывали и высылали в Сибирь людей, которые имели собственные дома и т. д.

У меня есть фотографии дедушки Тимофея и бабушки Анны. Она была очень красивой, чистокровной полячкой, намного младше дедушки. Она была его второй женой, женился он на ней в 36 лет, а ей было — 16.

Знаю, что с первой женой у дедушки была дочь Настенька, но о ней ничего не известно. Если ты помнишь, Славик, тетя Люба и дядя Миша как-то поехали в Бобринец. Тетя Люба рассказывала о том, что в доме дедушкином какая-то "масло-контора", они побывали в доме до начала работы, и что их удивило, на доме вывеска, где написано, что в этом доме жил писатель "Карпенко-Карый". Тетя Люба с дядей Мишей побывали в церкви, где крестили всех детей Святенко, ее и Колю, а также тетя Люба встретила подружку детства, и вечером побывали они в гостях у нее.

На кладбище могилы Швеца и дедушки Святен-

не помнил, так как в одном лагере подолгу заключенных не держали, а пересылали в другие лагеря. Я тут же написала об этом тете Марии. Она обратилась в ГУЛАГ, и после неоднократных обращений и запросов прибыл положительный ответ о том, что Евсей Яковлевич Левин жив, находится в таком-то лагере на Колыме. Тетя Мария написала ему письмо, послала фотографии сыновей — Марлена и Юры, но ответ получила она не от мужа. Прислали официальную бумагу, где сообщалось о том, что это просто совпадение имени, отчества и фамилии, что это другой человек. Так ли это? Где правда? Ничего не известно.*

Несчастные люди! Сколько стрессов, страданий пришлось перенести! Сколько искалеченных судеб!

О судьбе Николая Сергеевича, мужа твоей, мамочка, старшей сестры Анастасии, никто ничего не знает. Тетя Анастасия умерла в 1955 году. Сердце этой относительно еще молодой замечательной женщины, прекрасного преподавателя, не выдержало всех испытаний, выпавших на ее долю в связи с арестом мужа. Три ее дочери прожили в страхе свою жизнь, скрывая от всех, даже от собственных мужей, что их отец был репрессирован в 1937 году. Одна из них в память об отце назвала своего сына Николаем, и только тогда, когда он стал взрослым, ему рассказали о трагической судьбе его дедушки.

Мамочка! Это отрывки из воспоминаний о моем детстве. Это воспоминания о тебе, родная, о дорогих, любимых мною людях, мучениках, безвременном ушедших из жизни. О нас, детях, которых жизнь заставляла лгать, скрывать правду о судьбах наших родителей до тех пор, пока нам не вручали справки о том, что они ни в чем не виновны. Всю жизнь нам внушали, что наша страна самая гуманная в мире, что мы самые счастливые дети в мире. Нас учили петь патриотические песни. В школе, едва научившись правильно писать, мы писали сочинения на патриотические темы. Помню тему одного из них: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек". Нас, измученных, истрадавших сирот, заставляли любить эту страну — страну противоречивую, трудную, где бедный народ перенес столько страданий.

** Левин Евсей Яковлевич реабилитирован посмертно в 1957 году за неимением доказательств преступления.

ко не сохранились, т. к. расширили дорогу и снесли часть кладбища. Федину могилу они не нашли.

Вот все, что я помню. Если что-то еще вспомню, напишу вам.

До свидания. Целую.

Марлена

P. S. Только что поговорила с тобой, и отвечу на твои, Славочка, вопросы:

1. Дядя Коля и т. Илья закончили ист. фак. Одесского университета. Мой отец учился вместе с ними, и с ними закончил. Дядя Костя до войны работал председателем Ильичевского райисполкома в г. Одессе.

После войны я жила и училась во Львове, вернулась в 50 году. Тогда он работал директором зоопарка. Последнее место его работы — директор школы, а тетя Илья преподавала историю в этой школе. Какое-то время дядя Костя работал директором винодельческого совхоза, это было в 60-е годы, и они жили в сельской местности, только Валя под присмотром Лёки жила в Одессе.

2. Тетя Наца (Анастасия Тимофеевна) была учительницей русского языка и литературы. Она была очень строгой и с тяжелым характером. Мужа ее расстреляли в 32 году.

3. Дядя Володя был человеком очень интересным, с авантюристическим складом ума. Воевал в армии Чапаева, последние годы, по-моему, работал юристом. Толик жив, он больше знает об отце, чем я.

4. Мама моя была учительницей русского языка и литературы. В последние годы преподавала на заочном отделении Одесского университета.

5. Дядя Шура был кадровым военным. У него есть дочь Майя, которая живет в Киеве. Она на 2-3 года старше меня. Я с ней не дружила, видела один раз в Одессе в 50-м году. Знаю, что у Майи был сын Шурик (назван в честь деда).

Александр ДОРОШЕНКО

Привоз

"Если дать волю базару, он перекинется в город, и город обрастет шерстью..."

Ненасытен и жаден Привоз! Тяжело ворохась грузным своим телом, сыто урча, он перемалывает безостановочно нескончаемые потоки еды, одежды, обуви, покупателей, продавцов... Он расползается во все стороны, совсем недавно он перешагнул уличное пространство Новошечного ряда, вырвав кусок площади Трамвайного депо, и перепрыгнул-таки Екатерининскую, сначала утвердившись там зданием нового Универмага, как плацдармом, и окружил его рядами нового вещевого рынка. По всей линии Пантелеймоновской улицы он выстроил новые бастионы своих Торговых рядов с гигантскими Арками въездов (как открытые ненасытные рты глядят они во все стороны света, хищные, плотоядные, они дрожат от желания и ненасытной злобы и завывают, и втягивают в себя город...) и замкнул это каре по Преображенской. Он наступает на Город, его манит городская сторона Пантелеймоновской улицы, он уже расставил там свои ларьки и прилавки и даже организовал целый птичий базарчик с детским нескончаемым писком цыплят и утят¹...

На картинке моей детской книжки так кормили лилипуты Гулливера, бочонки вина был для него маленькой рюмкой, целые туши быков и баранов были ломтиками, нескончаемое море корзин и бочек окружало обеденный стол Лемюэля Гулливера (в мире лилипутов все было им соразмерно и ничто не было рассчитано на гулливеров!).

(По боковой стороне старого "Фруктового пассажа" два магазина: КСП им. Ленина и КСП им. Дзержинского, рядом, прижавшись плечами, как в былые времена, в обороне от всего окружения — но сразу за ними — кафе-бар "Шик" — так проходит земная слава, так великие замыслы становятся темой анекдотов...)

Ненасытное чрево Города. Все здесь смешалось — нескончаемые ряды прилавков, овощные, рыбы, мясные, колбасные, фруктовые, горы зелени и колониальных товаров, ларьки с одеждой из Франции и Австралии, мешки сахара ("Сахар-сухой-чистый-сладкий!") и муки, картошки и лука, фургоны с обувью и бюстгалтерами, немые бомжи и дамы в роскошных (базарных) одеждах (ведь здесь можно встретить знакомых), грузчики с низкими и широкими тачками и протяжным повторяемым криком: "Па-берегись!!!" или "Ноги!-Ноги!-Ноги!!!"...

"А, чтоб тебя! Таки наехал..."

Смешанный запах колченостей, кофе и апельсин...

Пирамидами из венчиков окружил себя специалист вечного дела, добродушный мужик с обвисшими от выпитого усами, он выглядит-вадет из этого колющего гнезда, как любопыт-

¹ Он вовсю обрастает шерстью, наш Город, кроме старых базаров и рынков есть гигантский "7-ой километр", тень Города, "Малина", "Выставочный центр на Среднефонтанской" у вокзала, китайский рынок и вьетнамский, строительные и автомобильные рынки, город становится оптовой и перевалочной торговой базой для всего юга Европы и славянского мира. Но Город и был построен на торговле — зерном (Прим. автора).

ный хомяк, и усы у него такого же растительного цвета, как продукция. Смотрят на тебя глазки-бусинки изумленно... и не понимают уже вопроса...

Горы рыбы, раков, рачков, прельстительные и тошнотворные запахи идут волнами, сменяя друг друга, многоголосый торг, суета тысячной толпы, и посреди этой толчеи продавец счастья — кассетной музыки, — над толпой и рыбными рядами льется женский голос, нежный, тоскующий о любви!

"Крысы, мыши, яд (я-а-а-д!) смертельный", — выпевает женщина посреди прохода, и в руках у нее множество подозрительных цветочных пакетиков (эта фраза, неустанно ею повторяемая, имеет форму интонационной дуги, и на самой вершине призывное слово "яд!"; это похоже на арию Козловского).

"Макултура-Политилен" — и очередь бомжей с мешками и вязанками остонов от коробок (коробки почему-то все от бананов, на них пальмы, полоса прибоа — все, что прибилося к этим берегам). Но где-то далеко, на островах Карибского моря, стоят сейчас эти королевские пальмы, вырастая прямо из прибрежного песка, а море там небываемого цвета, и каждой волне, прибежавшей к берегу, пальма наклоняет свои расчесанные на африканский манер кудри, и насмешливо что-то ей говорит, пытаясь пригладить растрепавшиеся гребешки пены...

"Хоты-доги", — англоязычное слово в русском падеже и изложении лиц кавказской национальности. Их ларьки стоят на каждом углу, там есть еще "шаурма" и восточная музыка.

Внезапно тебя охватывает пьянящий аромат русской бани — березовые и дубовые веники висят на канатах, сплошной стеной, кудрями книзу. Прав был Кустодиев, к нашей бане нужна русская красавица — и если бы Рубенс, считавший себя в этом деле знатоком, увидел его "русскую Венеру", он понял бы простую истину: красоты не бывает много!

Кафе-бар "Рубанок" в составе "Центра алко-гольных напитков".

Открытая жаровня посреди толпы, и в жаровне кувуркаются пирожки в кипящем масле. Рядом магазин, и уборщица прямо с порога вытряхивает коврик. Женщина-торговка в белом фартуке делает утренний макияж, стоя рядом с мусорным баком:

"Так они жили —
губы красили,
а шею не мыли..."²

Вереница лиц, видов, обычаев, предложений — вернисаж на Привозе: дама курит "Приму" и продает занавески из Парижа; обменный пункт, маленькое окошко в стене, забранное глухой решеткой, и только узенькая щель оставлена внизу для делового общения — туда горизонтально зеленый доллар, назад — пачечка грязно-розовых бумажек, и разглядеть, кто там живет, в этом окошке, невозможно; спящий бомж, и перед ним так и не проданный примус; мрачный по какой-то причине и малоразговорчивый мужик продает маслом писанный портрет последнего российского государя в родной золоченой раме и на вопрос о стоимости, отворачиваясь от сдерживаемой надежды, в которую сам не верит, го-

² Любимая поговорка моей мамы в мой адрес, назидательного характера, из чего я заключаю, что маме хотелось иметь девочку, а получились два сына.



ворит: "Двадцать, — и после нависшей паузы добавляет недовольно: — долларов"; рядом в полном аккурате разложены ранец, штыковая лопата, круговая обойма патронов, шмайсер с проеденным ржавчиной дулом, железный крест и тевтонский формой шлем — все, что осталось в полях под Городом от немецкого солдата (это постоянный продавец, и ему можно заказывать вещи, он роет, он археолог, он из тех, кто любит историю и ворошит непогребенные кости, а погибший солдат был романтический юноша из города Оснабрюка и писал стихи под Гендерлина и Рильке...); напольные весы прямо среди толпы, и можно проверить свой вес — 15 копеек (для худенькой жены предлагается за 10, а для ее мужа — за 25); календари на обшарпанной стене с Аллой Пугачевой в кудряшках и кем-то безымянным с роскошным голым задом:

"Рафаэль с Буонаротти —
ни черта на обороте
Пролетарии всех стран
маршируют в ресторан".

Вера Мухина представлена гранеными стаканами, последними осколками уходящей эпохи (бытует легенда, что ваяя из нержавеющей стали рабочий и крестьянку и перебирая символы времени, Вера отобрала серп и молот и создала им в комплект этот символ нашей незабвенной эпохи — граненый двухсотграммовый стакан, он должен был там стоять на пьедестале, но Суслев вмешался...).

Перед каждым контейнером, открытым к проходу, стоит стул, на нем мягкая подстилка, на ней заслуженно отдыхает контейнерный кот. Ох уж эти... ну всюду пролезут!

И между всем этим бурно кипящим людским морем, сидящими параллельными рядами продавцами, идущими между ними в оставленном узком проходе покупателями, собаками, невесты с какой целью, но вполне по-деловому куда-то спешащими и всегда успевающими при встрече переругаться друг с другом или обнюхаться, среди всего этого броуновского мятежа носится бегом упитанная женщина с тачанкой, с ящиком, в котором (это она приговаривает на ходу) все есть: водочка, коньяк, чай (с лимончиком, чай-каракаде), кофе (холодный и горячий), пирожки со всем, с чем они бывают... Все чисто-опрятно, по-семейному, с салфетками и одноразовыми стаканчиками и даже трубочками для коктейля... И все продавцы ее накоротке знают, окликают по имени — "Нюся"...

Кипит торг...

По пути домой, обогнув треугольный библиотечного здания (народной читальни) на площади треугольной же, облегающей это здание формы (так перчатка тонкой и хорошей выделки кожи повторяет форму руки и изгибы кисти и пальцев), пройдя по раскаленному от солнца Книжному переулку с тяжелыми базарными сумками, на самом углу Большой Арнаутской, неподалеку и справа от перекрестка, можно нырнуть в прохладную тишину бара "Шкипер" и, пристроив сумки у ножки дубовой тяжести и основательности стола, сесть на скамью и положить руки на выскобленную чистоту его поверхности. Стены бара убраны флагами неведомых стран, явора запутались в рыболовных снастях, и окна задраенных иллюминаторов вздрагивают под ударами волн — покачиваясь на боковой волне, плывет он в мировом океане... Как Ковчег, посланный нам для спасения в мире, где уже не осталось тверди для наших ног.

(Человек не ходит пить пиво в случайное место. Как и в любви, как во всем сокровенно важном, в выборе предпочтений здесь не бывает никаких общих правил. Есть множество чистых пивных баров, где не хуже пиво, где есть и закуски, и чистенькие столики, и вежливые официанты — и где не бывает людей. Это хорошо понимал Йозеф Швейк, когда договаривался с сапером Водичкой о встрече в шесть часов вечера после войны в пивной "У

чаши" на Боиште, где всегда есть великопоповицкое пиво — и девочки там тоже бывают, добавил он для верности, чтобы старый сапер Водичка наверняка пришел. Их разводил в разные стороны караул и, удаляясь друг от друга, друзья перекрикивались:

— Швейк! Швейк! Какое "У чаши" пиво?

Как эхо, отозвался ответ Швейка:

— Великопоповицкое!

— А я думал, смиховское! — кричал издали сапер Водичка.

— Там и девочки есть! — вопил Швейк.

— Так, значит, после войны в шесть часов вечера! — орал Водичка.

— Приходи лучше в половине седьмого, на случай, если запоздаю! — ответил Швейк.

И еще раз донесся издали голос Водички:

— А в шесть прийти не сможешь?!

— Ладно, приду в шесть! — услышал Водичка голос удаляющегося товарища.

Так разлучились бравоый солдат Швейк и старый сапер Водичка. "Друзья в минуту расставания / С надеждой шепчут "До свиданья".

В приведенном этом отрывке Мастер проявился в самой последней фразе, в переключке друзей — в уточнении старого сапера: "А в шесть прийти не сможешь?!"

А на капитанской стойке там... такое... на этой толстенной из мореного дуба выгесанной в начале самом времен стойке (оставшейся от обшивки Ноева ковчега, и только из этих досок следует делать стойку пивного бара!) — там лежат пунцовые от стыда раки (и у каждого такая изящная талия, как бывает только у совсем молоденькой девушки, такая, что хочется ей, привстав на носки туфель, на самый кончик хвоста, вздохнуть полной грудью — чтобы надыхаться воздухом, самым-самым сладким в жизни), и тянутся во все стороны их огромные угрозой вздувшиеся клешни, и огурчки всех трех размеров и четырех степеней твердости, и маринованные помидоры, вид которых вызывает жажду, и плывет в масле крупная бочковая маслина, и скользят куда-то горы креветок, но и пирожки только здесь делающиеся, с пылу с жару, еще шипящие злобно маслом, с тончайшими стенками, начиненные картошкой и капустой, но и яйцом с зеленью начиненные тоже, и в плоском судке поместилась жареная рыба в твердой корочке запекшейся шкурки, а под ней тающая во рту мягкость, нежность и букет которой сродни только тютчевским стихам...

(Только к нашему холоду приложима эта поэтическая вольность параллели — к нежности холода, пронзенной огненной свирепостью хрена...)

"Давненько вас не было" — скажет, расплывшись в довольной улыбке, бармен (добродушной горой возвышается он над стойкой, весом в центнер и с могучей шириной плеч; одновременно он улыбается тебе, отдает указание за спину, на кухню, обсуждает с клиентами в зале спортивную передачу на экране висающего под потолок телевизора и — все видит, все понимает и все может разрешить этой своей улыбкой), и станет понятным, что только тебя и именно тебя так долго ожидали в этом прохладном баре...

Так устойчиво станет перед тобой первая кружка пива, она успокоительно тяжела, и в ней холод и вкус жизни, вкус предстоящего выходного дня. Сейчас еще утренняя тишина воскресенья. Ломтик ветчины, ноздреватый овечий сыр... Собака грызет косточку, лежа на прохладных плитах пола.

Жара, тишина, уют... глоток ледяного пива... нег... ленивотекущая мысль об отложенной дома работе, которая — подождет!

(Ленивотекущая мысль, — наверное, я где-то это стаянул, и похоже на Гомера с Гнедичем, у которых на двоих был только один зрячий глаз, и вполне хватило, чтобы увидеть не увиденное великой массой зрячих, а впрочем, кто станет сегодня сверяться...)

Нега, это если к пиву красные раки, а если пиво с воблой — это не нега, это — лепота!)



Евгений НИКОЛАЕНКО

Суды-пересуды

...Однажды утром я появился на лестничной площадке в надежде спокойно перекурить, распланировать текущий день и связанные с ним мирские заботы. Марии Ивановне, по всей вероятности, не спалось. Она намного раньше обычного собралась на "работу". Чопорная старушка уже была элегантно одета, с напудренным носиком, губы были накрашены не яркой, но модной помадой. Необходимо отметить, что в ее внешности угадывались некогда очень красивые черты, несколько подпорченные — нет, скорее подчеркнутые старостью. Она вышла в коридор, забыв ключи, но внезапно налетевший сквозняк захлопнул ее дверь. В растерянности старуха развела руками и толкалась в закрытую квартиру. Я предложил ей свою помощь, сходил за инструментом, которым вскоре открыл нехитрый внутренний замок. В знак благодарности Мария Ивановна провела меня в комнату, предложила чаю, от которого я скромно отказался. Мы перебрались несколькими фразами. Речь ее была содержательной и четкой. В ее интонации, в манерах чувствовалась образованность, плотно сопряженная с грамотностью. Книжки лежали на полках, подтверждали мое предположение, они были написаны на французском языке: Бальзак, Гюго, Вольтер. Это еще раз убедило меня, что я имею дело с непростым человеком, распяла мое любопытство и желание пообщаться с такой таинственной соседкой, окрещенной соседями Графиней.

Старуха поведала мне, что она проработала много лет в одной "конторе" переводчицей с французского и вышла на пенсию. Но так как в той конторе было заведено правило "молчание — золото", она разучилась общаться или судачить со сверстниками ни о чем. Она поведала мне, что единственным мужчиной в ее жизни был ее муж, который трагически погиб много лет назад, а детей Бог не дал. Прямо задать вопрос, что она делает в судах, я не решился и попросил рассказать о каком-то, на ее взгляд, курьезном или занимательном случае, который она могла увидеть в суде, — в надежде разгадать тайну Графини. Старуха смерила меня своим оценивающим взглядом и, найдя во мне достойного собеседника, начала рассказ.

— В 1961 году, незадолго до денежной реформы, меня проводили на пенсию, выплатив мне выходное пособие, премию, отпускные и еще какие-то начисления. Сумма получилась по нашим меркам внушительная, и я решила положить эти деньги на книжку. Да вот беда, сделала это я с опозданием на один день и поэтому потеряла ровно половину своих кровно заработанных денег. А тут прошел слух, что обнаружилась некая банда, которая, пользуясь экономической ситуацией, нажилась на доходах и без того бедных граждан. Вскоре дело о финансовой банде состязались и поспешно передали в суд. Вот я и пошла посмотреть на тех, кто мои денежки загребал. Как это и бывает в таких случаях: "Встать, суд идет". Огласили состав суда, десятков подсудимых, свидетелей.

Мое внимание привлек старик, которому приписывали организацию преступной группы, Исаак Шварц. Старый Шварц, краснодеревщик, жил со своей большой семьей недалеко от нас. В его семействе в основном были мастеровые: портные, сапожники, фотографы и даже один музыкант, только любимая внучка по специальности была банковским работником. Много лет прожил Исаак в этом одесском дворике, переоборудовал старый сарай под мастерскую, в которой проводил все время, кроме субботы, когда посещал синагогу и неистово молился своему Богу Яхве. Книг он не читал, разве что Тору, которую знал на иврите. Во дворе он был авторитетом, мог бесплатно починить поломавшуюся мебель соседям, а заядлые пьяницы получали рубль без отдачи, на похмелье.

В основном за простые работы Исаак, не брался, он ремонтировал старую антикварную мебель, из-под его резца выходили изящные деревянные произведения искусства: трюмо, секретеры, шкафы. Работа его щедро оплачивалась благодарными заказчи-

ками, что создавало некоторую резервную сумму денег, которая и послужила поводом для привлечения к уголовной ответственности. Если бы не реформа, он вообще никогда и не знал бы, что такое уголовный кодекс и финансовые махинации. Но вот здесь бес или внучка Софья попутали, и старый Исаак оказался на скамье подсудимых в роли главаря банды.

Пакет с условиями обмена денег поступил на несколько дней раньше со строгим указанием вскрыть в день обмена. Но если в Одессе могут выдавать ослиную мочу за бензин, а вещь, сделанную на Арнаутской, снабдить лейбой самых знаменитых фирм мира, не составляет труда аккуратно отпарить досрочно сургучовую печать. Это и произошло в областном отделении Государственного банка. Наша Софочка, кроткая, никогда не помышлявшая преступить закон женщина, оказалась случайно соучастницей деяний, предусмотренных уголовным кодексом. Самое обидное, что мало того, что сама влетела, втянула в эту историю своего старого деда. Так как свободных денег она никогда не имела, дед финансировал это мероприятие. Она чем-то напоминала доверчивого Бура-тино из сказки, который верил, что если в лунную ночь закопать золотые монеты, наутро их станет непременно больше вдвое.

В данном случае оно, наверное, так бы и вышло, если бы не недремлющее око державы. На деньги, обмененные таким образом, наложили арест, а в одесском дворике, где жил Шварц, появились мужчины в фуражках с красными околышами. Сделали обыск, описи имущества, подлежащего конфискации, а старого Шварца и его внучку Софью поместили в СИЗО. Подобное решение утвердил суд, как меру пресечения — содержание под стражей.

Исаак появился в камере, как будто он снял недорогой отель. Но предусмотрительно надел теплое белье и прихватил пакетик средства от клопов. Как только дверь камеры за его спиной защелкнулась, к нему подошел уголовник по кличке Сима и начал допытывать старика вопросами:

— Дед, а какими судьбами тебя сюда занесло?

— За непослушание родителям, внучек. Если будешь такой любознательный, не доживешь до моего возраста.

— Это почему же? Здоровье у меня отменное.

— Много куришь и говоришь.

— Дед, так у тебя есть и родители есть? — не унимался Сима.

Но в это время на верхних нарах поднялся здоровяк с косым шрамом на щеке.

— Сима, сгинь и предложи старику свое место.

— А где же я буду дохнуть?

— Если будешь себя так вести, постоянным местом для тебя будет куточек у параша, И я лично сделаю из шестерки Симы — петуха.

— Понял. Видать, дедушка важная, раз ты, Князь, за него мазу тянешь.

— Сообразительный, не важняк, а авторитет. Придурок лагерный, пошел вон. Ложитесь, дедушка, здесь ваше место будет, пока не распорядится начальство по-иному

— Спасибо, сынок.

Исаак полез в трусы и вытащил небольшой пакетик, протер содержимым нары и улегся спать.

— С понятием дедушка, — сделал заключение Князь, — это только старики знают, как спастись от этих кровососов-вампилов, — и почесал обкусанный клопами живот.

Исаак спал тревожно, во сне работал руками, искал инструменты. Проснувшись, он уселся в углу нары и шептал на непонятном для сокамерников языке молитву. Воцарилась тишина. Заключение слышали, но не понимали ни единого слова. Закончив молитву, Исаак достал сверток, который тщательно подготовил дома, вытащил банку хлеба, разломал ее и извлек полиэтиленовый пакет с чем-то жидким. Налил граммов пятьдесят, выпил, закусил кусочком хлеба и молча передал наверх Князю все содержимое пакета с едой. Тот, в свою очередь, молча проделал такую же процедуру и позвал Симу.

— Раздели всем по чуть-чуть, да только тихо, чтобы вертухай не сполошился.

После небольшого перекусона Князь слез с нары с разрешения Исаака подсел рядом для беседы.

— Дедушка.

— Исаак Израилевич меня зовут.

— По нашей почте передали, что вы уважаемый человек, да я вижу — и место для вас не новое.

— В моей жизни, Князь, все было, да былшем поросло. При товарище Сталине в Воркуте уголек рубил. К сожалению, с кем сидел, их-то уже всех и косточки погнали. Да только трудяга я, краснодеревщик известный, не было нужды сучиться. Мебель классную лагерному начальству мастерил, поэтому выжил и без куска хлеба в самые голодные годы не оставался. Ну а то, что по почте передали, что я авторитет, так оно и есть. Какая разница, что сейчас не уголовный? Авторитет он и есть авторитет, на всю жизнь. У меня к тебе просьба будет, Князь: в женском отделении моя внучка Софа сидит, маляву бы получить от нее, да предупредить девок, чтобы не обижали.

— Все сделаю, дедушка, и Софку вашу никто не обидит.

— Меня-то скоро выпустят, зачем хозяину на меня, старика, дармовые казенные харчи тратить? Я о Софке печусь, добрая она женщина, зона сломает ее.

— Может, все обойдется?

— Может, может, дай-то Бог. Что я о себе да о себе беспокоюсь? Тебе много светит?

— Думаю, червонец, не меньше.

— Может, помощи какая-то нужна?

Князь скептически посмотрел на старика.

— Что я буду забивать вам голову своими проблемами? У вас своего дерьма хватает.

— Да ты не смотри на меня, что я такой дряхлый. Старый Исаак еще может согдиться, ведь я потомственный одессит.

— Сынок у меня в Одессе, пристроить бы его к делу, чтобы не пошел по моим стопам.

Старик на минуту задумался.

— В начальство просунуть его не обещаю, в науку тоже не могу, сам с поганоми не ходил и науку не одолевал. А вот к ремеслу его какому-то пристроить могу. Ведь меня многие знают, не откажут.

— Спасибо вам заранее, хорошо бы ему ремесло какое-то иметь. Смотри, и не чалился бы, как я, на нарах всю жизнь. Парень он у меня мысленный, и здоровьем Бог не обидел.

— На том и порешим. Как выйду — разыщу твоего парня, адресок запишу. Ох ты, — спохватился старик, — пора мне и поспать, а то здесь из режима выйду, а это плохо для моего здоровья.

За дверями послышался громкий разговор сменяющегося наряда, звон защелок. Но это Исаака как будто и не касалось, он повернулся на бок и задремал.

Дни в камере пошли своим чередом, следователи особо его не допрашивали, так как дед сам взял на себя организацию. Да и вести дело с дедом было очень сложно, он был немногословен, да еще и глуховат. И следователь при тщательном исследовании его личности понял, что этот "фруктик" ничего лишнего не скажет. Многочисленные родичи Исаака правдами и неправдами приносили внеочередные передачи, с подогревом. Каждый раз старик как ритуал принимал пятьдесят грамм, чем-то закусывал и все остальное отдавал "на хату".

Пришел день, когда его позвали на выход, везти в суд. Конвоир даже не решился командовать по уставу: "Руки за спину". У деда эта привычка была смолоду. Он шел по коридору, не шаркая по-старчески ногами, и с поднятой головой. Только в суде встретился с Софой и успел перебраться с ней несколькими словами.

— Как ты, Софочка, себя чувствуешь, не обижает никто тебя в камере?

— Спасибо, дедушка, твоими стараниями, все в порядке, и весточку передали.

— Ты держись, Софочка, все будет в порядке, я кое-что предпринял накануне. Постарайся поменьше говорить.

У Софки навернулись слезы на глаза: — Тебя, дедушка, жалко, ты такой бледный стал, зачем я втянула тебя в эту историю?

В зал вошел состав суда: "Встать, суд идет". Первое слово предоставили государственному обвинителю, советнику юстиции второго ранга Таранову В.Т. В течение двух часов прокурор упражнялся в доказательствах, на его взгляд, стройно составленной версии преступления. Исаак внимательно рассматривал портреты вождей, висевшие на стенах, как будто видел их впервые. Когда прокурор вынес вердикт, срок в двадцать пять лет, он как будто и не придавал этому значения. В это время он рассматривал портрет Железного Феликса, который висел над головой председателя суда.

— Подсудимый Шварц, встаньте, вы слышали заключение прокурора? Что можете сказать в свое оправдание?

Исаак повертел головой, двинул плечами и посмотрел на внучку, которая была вся в слезах. Мол, что от меня хотят? Судья обратилась к внучке: — Растолкуйте ему.

— Дедушка, — прокричала, рыдая, Софа, — прокурор просит вам двадцать пять лет!

— Спасибо, — и сделал поклон.

Судья решила, что глухой дед не понимает, о чем идет речь, и обратилась повторно.

— За, что спасибо?

Дед задумался, с интересом разглядывая портреты.

— О чем вы думаете? — выходя из себя, прокричала судья.

— Дедушка, о чем ты думаешь? — переводила Софа.

— Софочка, мне сегодня девяносто один, а сколько будет тогда?

Софа, не понимая, что происходит с дедом, начала подсчет в уме. Наконец выдала:

— Сто шестнадцать.

— Вот видишь, как здорово получается.

— Подсудимый Шварц, вы считаете себя виновным?

— Частично.

— А с чем не согласны?

— Во-первых, сведения об обмене получил от моего знакомого — фамилию забыл, — а прокурор зачитал, что сведения я получил от своей внучки. А вот сегодня я вспомнил его фамилию: Александров Анатолий Иванович. Работал он, значит, по финансовой части. Я старик и в должностях не разбираюсь.

— Но вот ваша внучка подтвердила письменно, что она дала вам сведения.

— Какие? Письменные, что ли? Так покажите мне их. Она с детства страдала памятью, особенно если расстроится, и справки дома на этот счет у меня имеются.

Исаак тайно уже успел обменяться сведениями со своим старым знакомым адвокатом Ефимом Виноградовым, который и сообщил ему, что недавно скоростно скончался управляющий казначейством Александров, через которого и пристраивал когда-то внучку в банк. Следствие впопыхах пропустило немаловажный факт, что точно такой же пакет поступил и в казначейство, а теперь Александров мертв. Следственный эксперимент не производился. И самое главное, весточка о беде дошла до его давнего заказчика и влиятельного человека в Москву. Уголовное дело рассылалось на корню.

Судья объявила перерыв. В совещательной комнате она передала дело на исследование. Но вновь открывшиеся обстоятельства подвигали ее к решению, что всем надо изменить меру пресечения и оставить на подписке о невыезде до окончательного решения суда. Прокурор, хлыщ с подстриженными усиками, решил сделать последнюю попытку и подействовать на старика угрозами. Он вызвал Шварца в отдельную комнату и заявил:

— Если ты, старый осел, сейчас не прекратишь ломать комедию, я упрячу тебя вместе с внучкой в такие лагерь, откуда ты никогда не выйдешь.

— Осел не я, а ты. Я никогда не давал тебе показаний против моей внучки. Меня в свои годы страдал сам Лев Давыдович, и я выстоял.

— Кто такой Лев Давыдович?

— Да, я вижу, ты совсем дремучий мент, историю не учил.

— Ты же притворялся глухим маразматиком, а такие коники выкидываешь.

— Так ведь я только оглох, но не охерел, чтобы собственную внучку в зону загонять.

Шли бурные дебаты. Прокурор настаивал на больших сроках с отсидкой, как требовало его начальство. "Тиватели" соглашались со всеми, только адвокат свою работу проделал до того и хитро посматривал, сидя в углу.

Судья подвела итог:

— Отработано дело прескверно, следователь даже не удосужился выяснить как следует личность подсудимого. Вновь открывшиеся обстоятельства, что источником могли быть сведения, полученные из казначейства, совсем опровергают нашу версию. И хуже всего, что выяснить этот вопрос сегодня не у кого, управляющий казначейством Александров два дня тому умер.

Прокурор не унимался:

— Не хотите ли освободить всех в зале суда?

— Я как раз и намерена это сделать, и причин для этого предостаточно. Во-первых, организатор — сомнительный старик, его внучка доступа к документам не могла иметь, так как она не управляющий банком и даже не член правления. Я даже не могу понять, кому в голову пришла такая шальная мысль. Полгорода предполагали, что так будет происходить обмен и пользовались слухами, так что же, прикажете мне посадить полмиллиона населения Одессы?

Прокурор настаивал на своем.

— Хватит, — сказала судья решительно. — Суд переносится на другое время. Деда с внучкой освободить в зале суда. Так как я не могу вынести оправдательный приговор для них, внучка получит год условно, это не реальная мера наказания. Деду год исправительных работ по месту работы с удержанием десяти процентов в пользу государства. Остальных пока в СИЗО, ищите доказательства вины.

Кто-то возразил: "Так дед не работает".

— Что значит, не работает? Он краснодеревщик и заслуженный народный умулец. Не валите на меня все, думайте, как расхлебывать будем, — покачала головой и добавила: — Ну и дедушка, а говорили: маразматик.

Прокурор спросил:

— Как быть с конфискованным майном и деньгами?

— Много майна накопили?

— Да нет.

— И инструменты деду верните, они не подлежат конфискации, и, по всей вероятности, в скором времени кому-то из начальства придется делать мебель. Что касается денег, что упало — то пропало, в доход государству.

Старуха закончила свой рассказ, пригубила уже совсем остывший чай и спросила меня:

— А что вы можете сказать о суде людском и божьем?

— Не знаю, я как-то не задумывался над такими проблемами.

— И все же, — не отступала она.

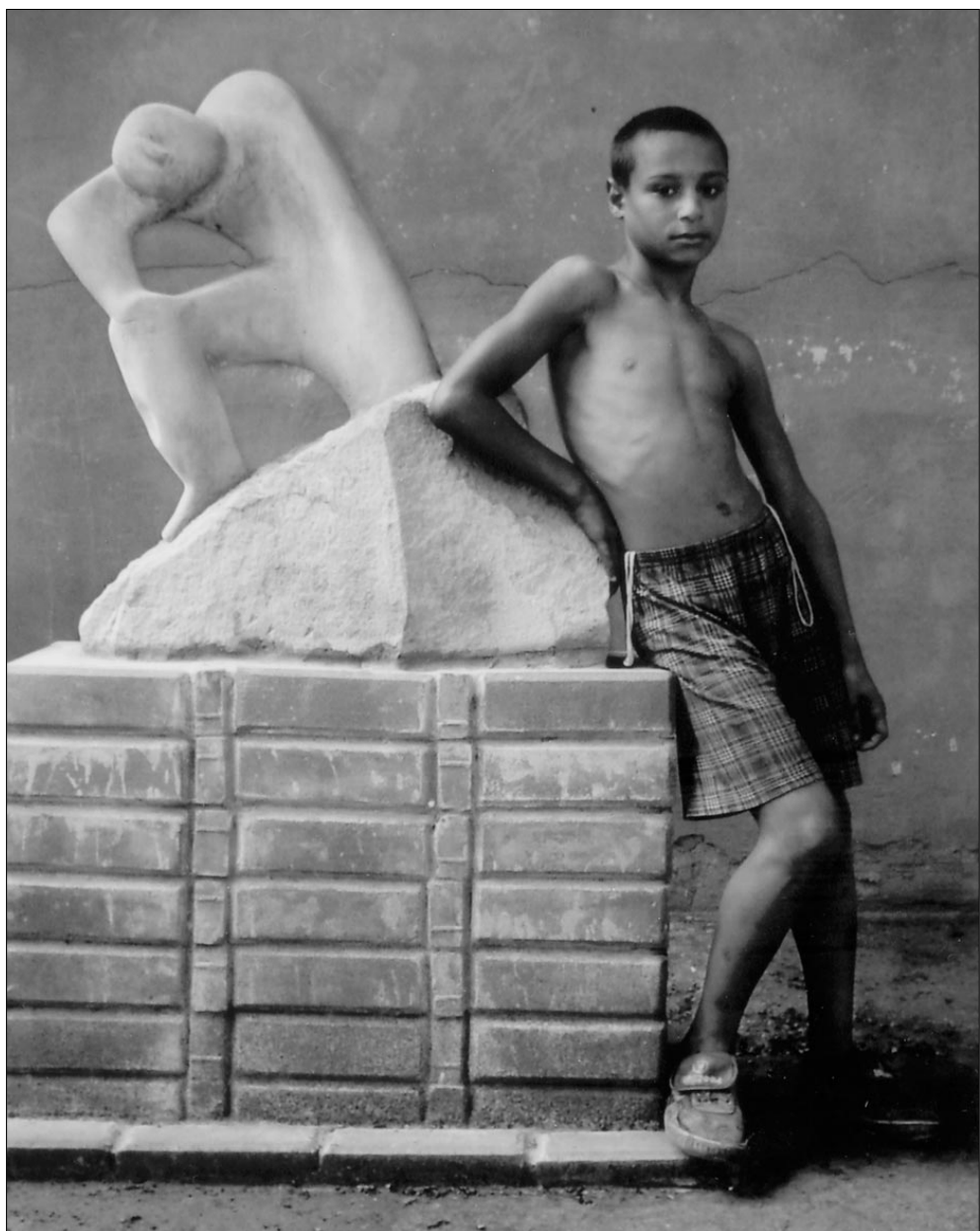
— На мой взгляд, это совершенно разные категории. Я не имею в виду "не судите, да не судимы будете" — это предостережение. Суд как институт власти, человеческий, реальный — и нравственный суд Божий, духовный. Два этих понятия существуют совершенно в разных плоскостях, которые никогда не пересекаются.

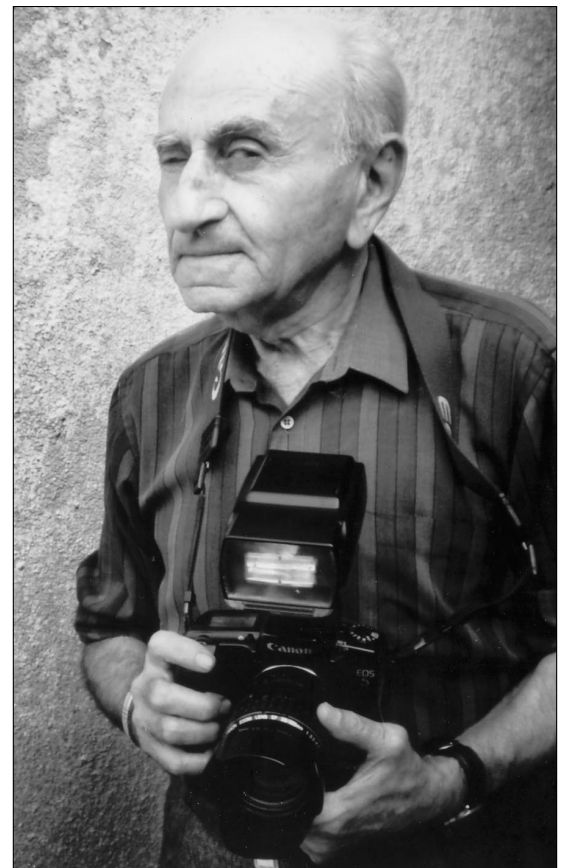
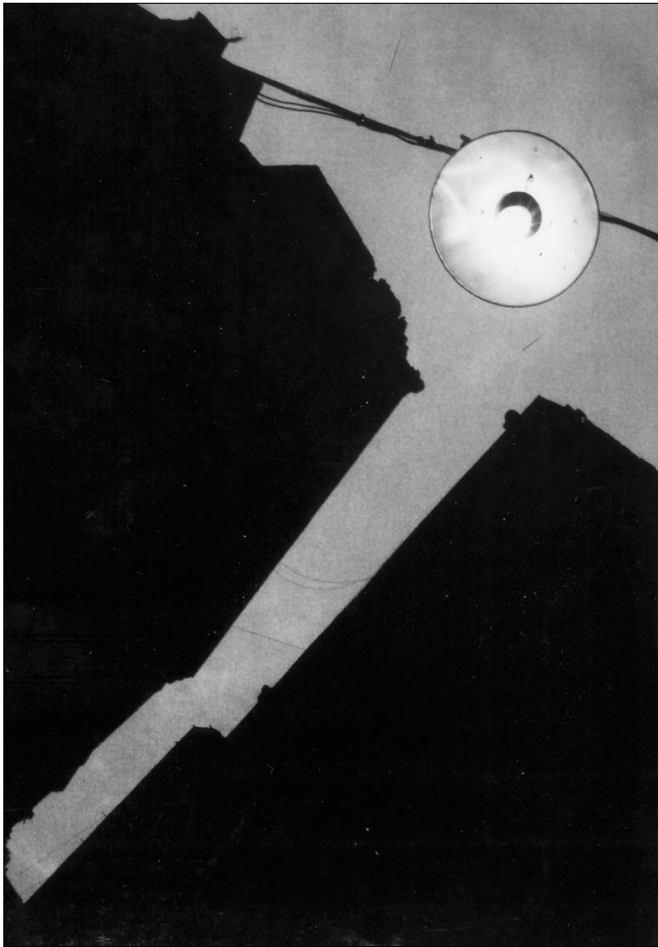
— Из вашего заключения можно понять, что суд, как вы изволили заметить, "как институт власти", может быть безнравственным?

— Я имел в виду, что мы люди, и это один из наших грехов. Вы, Мария Ивановна, по всей вероятности, долго размышляли над этим философским вопросом, дайте и мне задуматься. Вы лучше расскажите мне, чем закончилась эта история.

— Я уже вам говорила: в судах "хеп-пи энда" не бывает. И все же Бог распорядился по-своему Исааку вместо года принудительных работ в награду за трудолюбие и усердие в молитве послал еще десять лет жизни. Он умер у себя в сарае — мастерской, сидя на табуретке. Посмертных записок не оставил, завещаний тоже, только рука успела дотянуться до таинственного сучка на его верстаке, деревянный блок раскрылся на две половины, и из него вывалилось несколько пачек сторульвых купюр, затянутых резинкой. Этого вполне хватило, что бы Софа достойно похоронила любимого деда, который до конца дней был очень добр к ней. Она соорудила ему надгробную плиту с мудрой надписью на иврите, с завидными двумя датами, длиною больше чем в сто лет.

Фотографии Александра СИНЕЛЬНИКОВА





местечка Кривое Озеро»

Балтский уездный суд выносит вердикт: предать аресту самых ярых драчунов, указанных паном: Фишеля Кумаранского, Берко Шляра, Абрамку Сахаровича. Однако взять их под стражу оказывается не так-то просто: им помогают избежать ареста другие евреи, как, например, Ицко Стамбульский, "имеющий коммерческие связи с богатыми евреями Кривого Озера".

Интересно, что среди посаженных в кутузку драчунов нет тех, кто был указан как подстрекатель. Строго наказаны они не были. Возможно, сыграло роль имущество и социальное неравенство. Что же касается неспокойного и "ехидного" Фишеля Краснова, то на него нашлась другая управа. Как было сказано выше, он был приписан к Тираспольскому уезду Херсонской губернии, поэтому ему пригрозили, что в случае беспокойного поведения он будет выслен по месту приписки, хотя евреи имели право менять место жительства в пределах черты

оседлости и, переселившись в Кривое Озеро Подольской губернии, он не нарушил законов Российской империи.

Очевидно, помещики Краснова удерживали в Кривом Озере финансовые или семейные интересы. Как видно из документа-доверенности 82 евреев Кривого Озера поверенному Глузбергу, в местечке проживали еще четверо Красновых: Лейзер, Шлиома, Михель, Айзек. Можно предположить, что некоторые из них были родственниками, вели совместные дела и поддерживали друг друга. Хотя Фишель в этом случае стоит в стороне от всех: его нет в числе 82 — возможно, потому что он помещик другого уезда или просто более состоятельный по сравнению с другими.

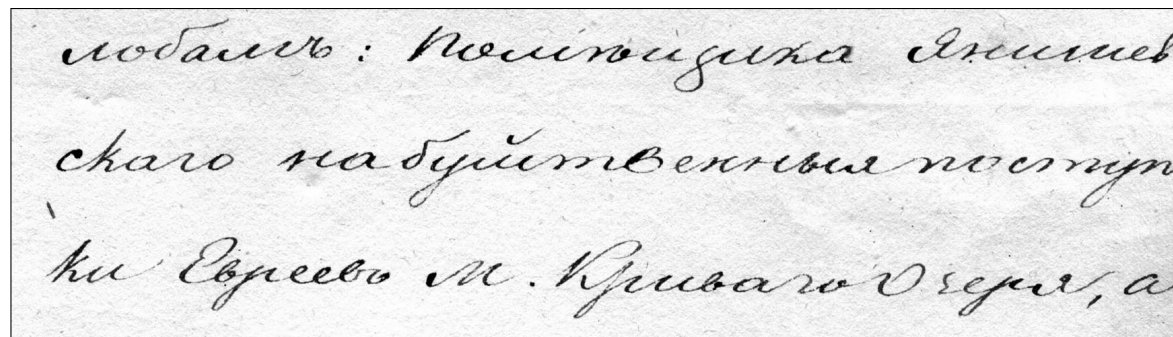
Что-то все-таки было необычное в нравах, царивших среди евреев Кривого Озера: их не запугали ни кутузка, ни другие строгости, они не присмирели, а продолжали пытаться отстаивать свои права, как умели.

Неспокойный нрав некоторых кривоозерских евреев заставлял помещика Янишевского усмирять их всеми доступными ему способами. В октябре 1836 года он приказывает своему управляющему Вербовскому прорыть ров под самые окна дома Шлиомы Глузберга — того самого, который от имени 82 евреев подавал жалобу на притеснения помещиком жителей местечка. Нарочитость рытья рва в этом месте всем понятна. Поз-

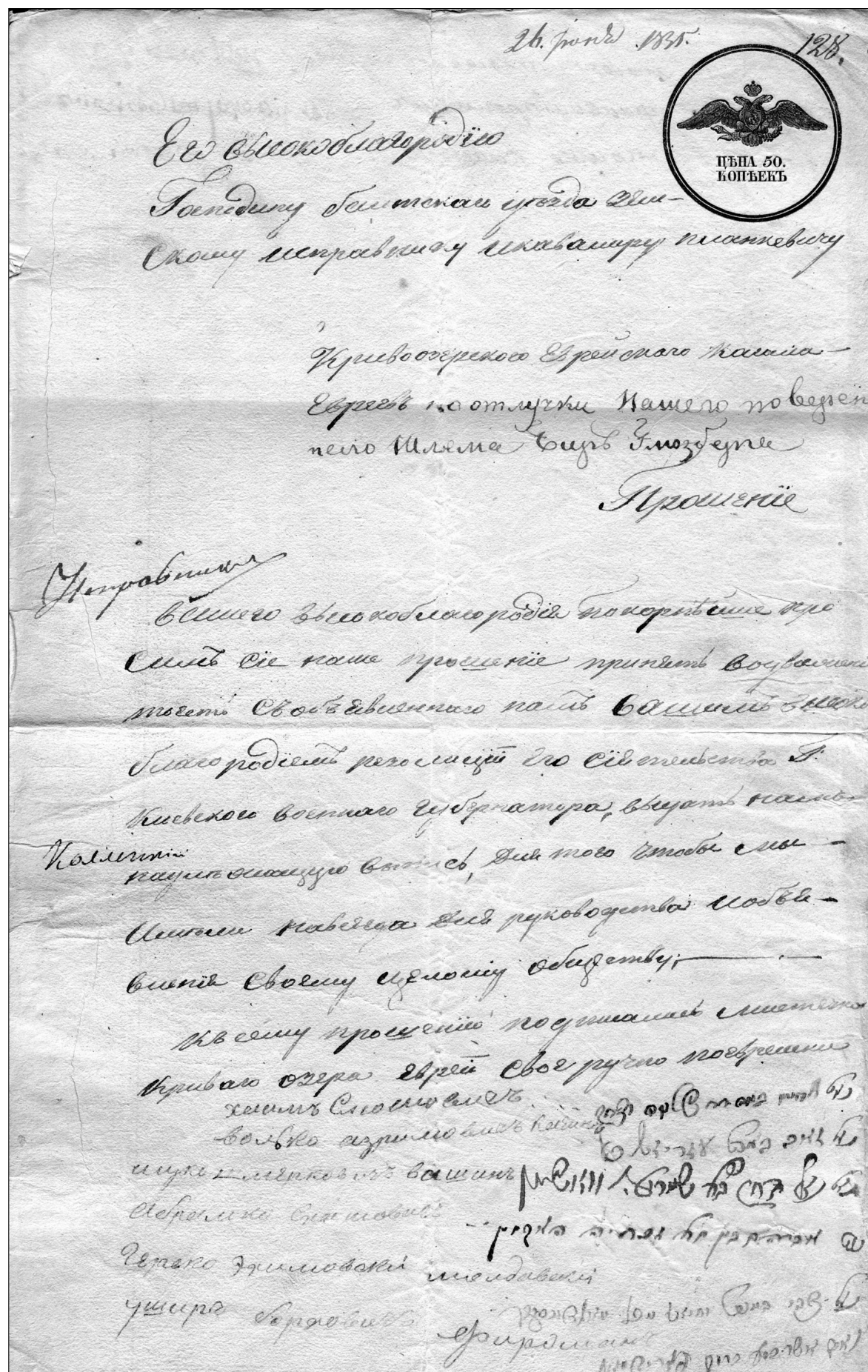
же, в объяснительной записке уряднику, Янишевский пишет, что имеет право на своем "грунте" делать то, что ему необходимо по хозяйственным надобностям "экономики". Возможно, зная вспыльчивость Глузберга, пан организовал элементарную провокацию, на которую тот легко поддался. Сам Шлиома, его отец Нухим, его жена Зисля, Фишель Кумаранский и Гершко Попель, пытались прогнать крестьян, которыми руководил

стояла из 1116 душ. То есть за 12 лет население его выросло почти в четыре раза, ведь пан приобрел местечко в 1835 году с 300 евреями. А в начале XX века там даже было открыто еврейское училище. Соседний же Концеполь, где проживали евреи спокойного нрава, оставался небольшим местечком: по той же ревизии 1847 года еврейская община в нем состояла из 240 душ. Так что неспокойный нрав значительно более способствовал развитию и процветанию местечка, чем послушание.

Рассматривая современные географические карты этих мест, мы обнаружили рядом с населенным пунктом Кривое Озеро топоним Янишевка. Очевидно, именно там находилась помещичья



Выкопировка из жалобы помещика Янишевского на буйственные поступки евреев местечка Кривое Озеро



Жалобы евреев местечка Кривое Озеро на действия помещика Янишевского

управитель Вербовский, вступили с ними в драку. Крепостные снова оказались побитыми, а у сюртука управителя был оторван рукав. Но самое главное — "официалисты" и крепостные свидетельствуют, что "евреи грозились лишить жизни самого пана Янишевского, кабы он перед ними оказался"! Пан просит у официальных лиц защитить его имущество, да и его жизнь от посягательства кривоозерских евреев.

Свидетелей драки и угроз в адрес пана в местечке не нашлось, кроме самих ее участников, дававших противоречивые показания. Специальные показания взяты у 12, очевидно, наиболее состоятельных жителей местечка (не подписавших доверенность Глузбергу), в том числе у Фишеля Краснова. Все они драку не видели, а некоторые видели оторванный рукав управителя, разбегающихся крестьян. Перед дачей показаний все евреи приведены к присяге раввином. Несмотря на страшную кару, ожидавшую их в случае неправдивых показаний, своих земляков они все стараются выгородить. Так, например, Дувид Гурфинкель, 49 лет от роду, подтверждает неспокойный нрав Шломы Глузберга, но добавляет, что ни он, ни его отец и жена, "ни обвиняемые за побои Фишко Кумаранский и Гершко Попель под судом не были и в воровстве не замечены". Наш старый знакомый Фишель Краснов, 54 лет от роду, показал, что был болен, из дому не выходил, ничего не видел, о драке узнал от пришедших к нему домой управителя в сюртуке с оторванным рукавом, секретаря и писаря. По поводу нрава Глузберга знает, что "он ведет спор с помещиком, хотя показатель и прочие евреи усердно желают с помещиком жить мирно".

К сожалению, заключительные документы этой тяжбы отсутствуют, и мы не знаем, какое наказание понесли зачинщики, и как сложилась жизнь обитателей Кривого Озера. Но нам кажется очень значительным сам факт неповиновения евреев, пусть даже выраженный в виде элементарной драки. Ведь вначале они пытались добиться справедливости цивилизованным путем — подавали жалобу, но стерпеть несправедливость не смогли и защитили себя, свои семьи, свое имущество, как могли, — кулаками. Погромы и притеснения, наверное, сидят где-то в генетической памяти евреев, поэтому каждое свидетельство еврейского сопротивления интересно и ценно как исторический факт.

Кривое Озеро как еврейское местечко развивалось в дальнейшем достаточно бурно: по ревизии-переписи 1847 года "Кривоозерская еврейская община" со-

усадьба Янишевского. Как долго владел он или его потомки этими землями — мы не знаем, но сохранившийся до наших дней топоним — это привет из далекого прошлого и отголосок тех необычных событий.

Несколько лет назад древняя кривоозерская история получила неожиданное продолжение по всемирной сети Интернет. С нами связался мой троюродный брат Исаак Краснов из Сан-Франциско и сообщил, что составил генеалогическое древо шести поколений семьи Красновых. Из общения со старшим поколением нашей огромной семьи он выяснил, что наш общий прадед Моше Шаевич Краснов родился в 1852 году в местечке Кривое Озеро Балтского уезда Подольской губернии. Таким образом, он по возрасту мог приходиться внуком или правнуком любого из упомянутых ранее Красновых этого местечка. Так неожиданно ожили персонажи старинных документов, превратились в возможных предков, продолжились в своих потомках. Честно говоря, очень приятно было бы зачислить в свои предки "ехидных и буйственных" Красновых, несмотря на непростительное их занятие — торговлю "горячим вином". Доказать или опровергнуть такое "древнее" родство теперь уже никак невозможно.

У Моше Шаевича Краснова и его жены Хаи Иосифовны Варшавской-Красновой было восемь детей: шесть сыновей и две дочери. Очевидно, женившись, прадед переехал в местечко Захарьевку, поближе к Одессе, во всяком случае, там родились трое его младших детей. В 20-х и 30-х годах практически все дети переехали в Одессу. У моего отца, Арона Краснова, было две родные сестры и 28 двоюродных братьев и сестер. Практически все представители этого поколения получили высшее или среднее специальное образование, работали бухгалтерами, экономистами, инженерами, конструкторами, военными, врачами, учителями и т. д. С начала эмиграции они разлетались по всему миру, следуя за своими детьми. Следующее поколение семьи проживает в Канаде, США, Израиле, Новой Зеландии, Германии, но и конечно, в России и в Украине. В Одессе кроме нашей семьи Красновых-Дроздовских проживают представители еще двух ответвлений рода, несущие другие фамилии. Все мы и наши подросшие дети по мере сил трудимся на благо родного города и всей страны.

Одесса, 2005 год.

Использованы материалы из коллекции А.А. Дроздовского.

Ирина Егорова

Москва

РАССКАЗЫ

Ленивый воздух Одессы

Смешно, но и я была когда-то маленькой девочкой.

И с каждым днем мне все легче удавалось взбираться на стул, а сиденье, которое было сначала на уровне носа, становилось все ниже и ниже — по грудь, по пояс... а однажды я тянулась, тянулась, встала на цыпочки и положила подбородок на стол.

Тогда все вокруг было очень большое — большущая комната с двумя огромными окнами и высоченным зеркалом между ними; моя кроватка у стены; подушка, такая мягкая и любимая, на которой можно было уместиться целиком, если хорошо свернуться калачиком; и сладко засыпать под стук бабушкиной швейной машинки.

А утром бабушка, одевая меня в ясли, много раз повторяла: "Скажи — р-р-рыба, р-р-рыба... р-р-рак, р-р-рак... р-р-рыба...". И вдруг мой язык, который только что неловко подворачивался и закручивался, звонко-звонко завибрировал: "Р-р-рыба, р-р-рыба, р-р-рак, р-рак!..".

И первая влюбленность, годика в три или меньше, в черноглазого хулиганистого Сережку Еременко: "Мама, он меня бьет, но я его все равно люблю!".

Чтобы добраться до детского сада, нужно было выйти из нашего длинного коммунального коридора на первом этаже через большущие двери в гигантское, как мне тогда казалось, фойе парадного подъезда. Потом преодолеть два пролета широкой мраморной лестницы — до второго этажа, протиснуться в тяжелые двери детского сада и переодеться возле своего шкафчика. Почему-то не было дня, чтобы я проделала этот немудреный путь без опоздания. По всей вероятности, опаздывать — это была наша фамильная черта, и досталась она мне с молоком матери.

В садике мне было уютно и вольготно, меня там любили. Бывало, воспитательница ставила меня перед всей группой и говорила: "Рассказывай!". А я, помнится, сочиняла что-то прямо на ходу, то ли сказки, то ли рассказы — не вспомню уже, что именно, только я стояла и рассказывала, а все слушали.

А потом, когда я была уже не очень маленькой девочкой, случился один момент, который пронзил меня насквозь солнечным светом, как стрелозу булавкой, и пригвоздил на веки вечные прямо к Богу в петлицу.

Было лето, я стояла перед зеркалом, которое умещало меня всю целиком. Из окна лупило солнце и, отражаясь в зеркале, затапливало мне лицо, волосы, глаза. И вдруг я *поняла*, что — *родилась и живу*. Прочувствовала эту ликующую радость всем существом — насквозь, навывлет, — что у меня есть я, со смуглой кожей и струящимися золотыми волосами, что во мне пульсируют, затаившись, немеренные силы и возможности. А ведь всего этого могло и не быть! (У меня были все шансы вовсе не родиться.) И осторожная, как тайный сговор, благодарность потекла золотой нитью к Тому, Кто одарил меня всем этим.

Теперь, когда мне бывает больно или пусто, тоскливо или бессмысленно, я заглядываю в это мгновение, как в бездонный колодец, сквозь который видны золотые прииски моей судьбы. И тогда алчным золотоискателем я начинаю понимать, как много из обещанного все еще не сделано, как много упущено и как много еще нужно, нужно сделать, во что бы то ни стало.

И больше всего я задолжала этому трепещущему золоту рыбкой ощущению бытия, которое обязано оставаться во всем, что я делаю, к чему прикасаюсь.

В Одессе удивительный воздух, ленивый и чувственный, и в то же время пропитанный живительными импульсами, как первобытный, доисторический бульон, в котором зародилась жизнь. Начиная с весны, затапливающей весь город пьянящим ду-

хом акаций, и до поздней осени, устеленной желто-красными листьями, Одесса не устает потчевать своих обитателей потоками солнца различного накала, букетами вкусов, цветов, запахов, солеными объятиями моря и ветра, звуками прибоя и шумом Привоза, горячими улыбками и перченными шутками, рассыпанными нехотя и где попало.

И только серой слякотной зимой Одесса засыпает, становясь отстраненной и безучастной; таится где-то в глубине своих снов.

Весна в тот год совпала с первой "взрослой" любовью, с ощущением, что я — девушка, с распирающе-томящей болью растущей груди и поющим, как струна, телом, пружинисто изгибающимся во время ходьбы. А взгляды чутко воспринимались всей кожей и были почти равносильны прикосновениям. Влажный от весенних дождей ветер проглаживал лицо и шею, запускал свои пальцы в гущу волос, от чего они кудрявились пыльным ореолом и волнисто развевались сзади, вдогонку моим стремительным шагам.

Ветер в меня влюбился —
Сладкий, щекощущий, пьянкий —
Впивается в ноздри, в губы —
Начало моей изнанки.

Сжимает виски в ладони,
Затылок сжимает в локти,
И тычется лбом холодным
В мой лоб в сигаретной коפותи...

Слова брались неизвестно откуда, вертелись назойливо, как насекомые, копошась и мешая до тех пор, пока не найдут своего законного места в строке. Я шла к папе своим любимым маршрутом: Пушкинская, Приморский бульвар, Дюк, Воронцовский дворец, Тещин мост, еще один бульвар и — папина мастерская. Здесь, среди могучих платанов на Пушкинской, вспоминались разговоры таких взрослых курящих поэтов и пантомимщиков, испещренные шутками и намеками, ленивыми движениями и острыми переглядками. И обволакивающее присутствие Его, любимого, физически ощущаемое его приближение и удаление, обоюдно нацеленное внимание, внезапные разряды касаний или всполохи взглядов.

К нашему двадцатилетнему руководителю студии пантомимы стекались приятели его же возраста, очень зрелые и мыслящие, как казалось тогда мне, четырнадцатилетней. А я (самая маленькая в студии, по прозвищу Малая) почему-то частенько присутствовала на их бурных обсуждениях проблем мирового масштаба, иногда сопровождавшихся стихами, песнями, танцами и сухим вином. И страшно вдруг становилось от крамольной мысли — проговорить им что-нибудь из моих сложившихся где-то в мыслях (и даже не записанных тогда!) строчек:

У меня душа — страстная,
У меня шаги — быстрые,
У меня ладонь — ясная,
У меня глаза — чистые.

Я люблю ходить голая,
У меня спина смуглая,
У меня длинные голени,
В волосах — волна круглая.

Я — ведьма, богиня, чертовка, русалка,
И мне ни единой души
Не жалко, не жалко, не жалко, не жалко —
Глаза мои так хороши.

И волосы вьются, как флаги на мачте,
И пальцы тонки у руки.
Любите, желайте, стенайте и плачьте,
Смотрите, как ноги легки!

форма жизни. И многие так привыкают, что даже держатся за нее.

— За что же там держаться? Ведь это мука — быть таким неповоротливым и неподъемным — ни полетать, ни создать свои пространства-мысли.

— Ну, полетать там, конечно, не очень-то придется, разве что на таких специальных штуках... как они у них называются... впрочем, это не важно. А создать свое пространство или мысль, это у них тоже есть. Прав-да, на это, как правило, уходит практически вся жизнь, да и пространствшко, сказать по правде, зачастую совсем малюсенькое... как его там... А! — дом называется ... Так вот, они еще очень гордятся его крепостью... и долговечностью.

— Крепостью? Долговеч... (*смеется*). У них у самих-то жизнишки... — пшик — и нету. Все рушится. Все тела, ну, которые из материи, не ус-

пеют создаться, как тут же начинают распад. Чем же тут можно гордиться? Какая долговечность? (*ухахатывается, внезапно посерьезнел*). Время! Надо же такое выдумать! Ведь оно же всегда только и делает, что проходит!

— Ладно, ладно... окунись сперва, освоись, а тогда и на критикуешься всласть. Вот народ.

— Не знаю, как там вообще можно жить? Да и стоит ли?

— Стоит, стоит. А потом — чего волноваться? Ты ведь будешь просыпаться сюда каждую ночь. Без этого, конечно, трудно было бы там удержаться — слишком большие перегрузки. А тут — летаешь и расправляешься как следует, разомнешь отсиженную в теле душу. Так что — не бойся, будем видаться часто. Да там, и не просыпаясь, можно иногда заглядывать сюда — у некоторых получается. Чаще всего от любви, особенно

роскошь, если жизни мне нет, и больше не будет? Не будет...

ОН. Вот сейчас я присяду поближе, заголю эту пышную пунцовую накидку с разноцветной благоухающей подкладкой и доберусь до этой нежной солоноватой плоти.

ОНА. И сколько раз все это повторялось с моими предшественницами, и сколько еще повторится... ведь знала же, знала наперед... предупреждали... и все же попалась на эту удочку...

Ну хоть бы кто-нибудь вдумался, выслушал, проникся...

ОН. Сейчас, только опрокину рюмочку обжигающей перцовой водки, и тогда сразу же наброшусь на нее.

ОНА. Ах, нет, только не это! Не сейчас... ох, как же он близко... этот жадный взгляд... маслянисто поблескивающие глаза...

Как ноги легки и длинны, и проворны,
Как стройные бедра круты...
И это из сердца не выдернешь с корнем
Ни ты, и ни ты, и ни ты!

Нет! Нет!!! Как можно — такое? Неприлично, стыдно, И вообще... Ведь они же уже — !!! А я еще — ???...

Впуская в себя влагу воздуха, как рыба жабрами, лавируя между намеревающимися пристать праздношатающимися парнишами, приближаюсь по Пушкинской к Приморскому бульвару.

— Девушка, можно с вами познакомиться? — какой-то тип с совершенно неуместным лицом.

— Нет, нельзя! — категорически отрезаю я, не сбавляя скорости полета.

— Но почему? Вам же, наверное, скучно? Вы одна...

— Мне скучно?! — зверею я от глупости непрошеного уха-жера и включаю турбореактивную скорость, после чего голос приставальщика гложет где-то позади.

И вот, пропитавшись, как ром-баба, пьяными весенними запахами и соленым морским духом, вздымаюсь к папе на верхний этаж. На лестничной площадке рамы и холсты, лицом к стенке, перемазанная красками дверь с умокнувшим неизвестно когда звонком. Стучу, как умею, получается хило. Дубашу и так, и сяк. После долгой паузы во глубине — шевеление, дверь открывается — папа с пучком измазанных кистей вытирает руки о тряпицу. Сразу же бьет в нос такой родной (и такой желанный до сих пор) запах масляных красок.

Папа пропускает меня, говорит, чтобы я занялась чем-нибудь, дает куски ватмана, коробочку с пастельными мелками. От сочетания и брожения вокруг огромного количества цветов разного накала и концентрации внутри что-то радостно стонет. Картины — законченные и только начатые, недоплетенный гобелен, большущие мотки ниток к нему, набросанные рядом, — таких вибрирующих тонов, что в горле возникает комок от непонятого восторга. Пастельные мелки дразнят многообразием, и каждый хочется схватить первым... Папа жадно вливается кисточками в холст, лихорадочно мучает краски на палитре, иногда с остервенением выдавливает остатки из тюбика и снова набрасывается на холст.

Я, как всегда при виде папы, начисто теряю дар речи. Что бы я ни сказала — кажется мне — все будет абсолютной мурой, и папа с ядовитой иронией прищурит глаз, соорудит свою коронную гримасу и отпустит какое-нибудь едкое замечание, от которого хочется стереться с лица земли. Надо сказать, что со мной он как раз всегда обходится довольно бережно и даже ласково, когда замечает, конечно. Но я видела, как иногда он отбрасывает других... и потому молчу, как последняя идиотка. Пробую выразить свой безутешный восторг мелками по ватману.

Папа делает передышку, отваливает от холста, вытирает руки. Поглядывает в окно на море, корабли и подъемные краны. Мимоходом взглянув на меня, вдруг зацепляется взглядом, потом прикрывает один глаз, пытаюсь меня поточнее сфокусировать и скомпоновать. Я, чувствуя себя дичью в прицеле охотничьего ружья, пытаюсь рыпнуться.

— Стоп! Сиди так... подожди... — и папа, чтобы не спугнуть дичь, хватая лист бумаги, прищипывает его на что-то, берет пастельные мелки, ищет выгодную точку. — Так, так... чуть-чуть головку правее... нет, много... так, так, да, — и начинает быстро-быстро набрасывать мой портретик.

А я стараюсь не шевелиться, по опыту зная, что любая попытка переменить участь вызовет у папы бурю протеста и озверения. Ничего не остается, как думать о влажном весеннем ветре, о море, о платанах, и совсем тайком — о колечках дыма от сигареты любимого.

Когда рисунок закончен, с трудом возвращаю телу подвижность, подхожу, смотрю на портрет. А там — надо же! — и весенний ветер, притихший в волосах, и море, и затаившийся, спрятанный где-то далеко-далеко в глазах любимый.

если умудряются стихи, знаешь, писать, картины, музыку. Представляешь, ты как бы там, а на самом деле — весь тут... ну, разве что тело...

— Да, вот, кстати, о теле. А может, не надо?

— Ну, вот еще — не надо! Трудно будет — меня помяни, я всегда рядом. Давай-ка, давай, не упрямясь. Оно там уж зажалось совсем — тело твое. Так что, мой маленький, зажмись поскорее свою бессмертную душевную и ныряй в сон — туда, вниз, на землю.

— А может, как-нибудь?..

— Ныряй-ныряй, не бойся. Ты и оглянуться не успеешь, как снова пора будет снова возвращаться. Еще во вкус войдешь, упрямитесь начнешь, цепляться. Знаю я вас... ох, народ! (*подतालывает маленького*).

(*Удаляющийся голос.*)

— Но зачем?! А?..... уа! Уа! Уа!

— О! Получилось! (*Улыбаясь, глядит вниз, на улетевшего*.) Ну, с Богом!

ОН. Ах, какое это наслаждение — почувствовать ее губами, языком... о, моя любовь... этот вкус, этот ни с чем не сравнимый вкус!

ОНА. Всё, больше мне от него никуда не деться... Это гибель... полная гибель. Он наклоняется ко мне... До чего же неотвратимо приблизились его губы, его сладострастные губы...

ОН. И зубы сами впадают в эту наивно-детскую, тающую мякоть...

ОНА. Нет, нет, я никогда не соглашусь с этим! Как же я беззащитна... Я не понимаю! За что? Почему именно я? Что я ему сделала?... О-о-о-о...

ОН. И это похрустывание на зубах тонко нарезанного лука, пушистая масса яйца, свекольная сладость... еще что-то... проникающий во все это майонез... м-м-м...

Ну что, что может сравниться с селедочкой? С нежнейшей селедочкой под шубой?!!

Сон

— Но зачем? Мне и здесь хорошо. Благо-гостно.

— Это такая тренировка. Чтобы душа росла, ей нужно напряжение и распряжение, зарядка и разрядка.

— Но что же там можно делать? Ведь все это — сплошная нелепица...

— Да, но там это считается логикой и... Они называют это законами природы и изучают.

— А как же можно что-то изучать, когда все вокруг — плотное и тяжелое? И к тому же сама ты — плотный и тяжелый? И каждый шаг порождает всякие последствия — плотные и тяжелые?

— Да, да, там все и плотное, и потное, но тем не менее, поверь, это тоже своего рода

Гурмановид

Монологи обоих персонажей
проговариваются про себя

ОН. М-м-м... Как подумаю — даже в глазах темнеет, и сладкий трепет сползает по затылку. Нежная, молоденькая, аж светится изнутри. Ну, просто слюнки текут. А вкус ее на губах, на языке... нет... не могу... ну, скорее бы...

Какая она вся наполненная, в меру пухленькая, гладенькая, крепенькая! Как подумаешь, прямо прыгает все внутри и разливается горячей истомой.

И что может сравниться с ней, прикрытой этим пышным и душистым покрывалом. О, этот запах...

ОНА. Не понимаю! Как это можно — неужели мои страдания для него ничего не значат?..

И если бы — только мои!

ОН. Нет, с ней может сравниться только... только такая же свеженькая, вкусненькая, невыносимо притягательная... просто пальчики оближешь.

ОНА. И сколько нас таких! Ведь он и ему подобные еще считают себя гуманными людьми. А что происходит со мной — это хоть кого-то волнует?

ОН. Не знаю, как другие, но этого наслаждения я не променяю ни на что.

ОНА. А мои дети... мои, теперь уже навсегда несбывшиеся дети? Лежу, вся выпотрошенная, пустая, как надводная пещера. И что мне с того, что я одета в это желто-багровое великолепие? Зачем весь этот антураж, свет,

Лилия ИШУТКИНА

Людмиле Петровне Бараневич

Простые стихи

1

Я живу на улице Заречной,
На окраине,
в старинном доме...
Размышляю о проблемах вечных
И валяюсь в поле на соломе.

А еще гуляю я с собакой
По пустым проселочным дорогам,
Веселю ее шутилой дракой
И стихи слагаю понемногу...

Каждый всплеск
едва мелькнувшей мысли
Я ловлю, как редкий миг удачи.
И себя среди счастливых числю —
Поздней осенью,
на старой даче.

2

Плывут облака куда-то,
Плывут они низко-низко!
Без всяких на то мандатов
И без особого риска...

А я, как поэты земные,
Гляжу на них в духе ретро
И им говорю: "Родные!
Плывите по воле ветра!"

Сама остаюсь в качалке,
Без облачной легкой силы.
И думаю: "Ах, как жалко!
Зачем родилась бескрылой?!"

3

Бредут коровы, козы, гуси...
Окончен день паствы вне дома.
И снова бык, его боюсь я,
Мычит свирепо и знакомо.

Пылитесь вслед ему дорога,
Кричат хозяева в закутах,
А вечер медлит у порога:
Он ждет конца сует и смуты.

Покой и тишь приходят вскоре.
Все спят — хозяева и звери.
И пусть ночное чье-то горе
Не постучится в ваши двери!

4

Тут есть погост
на ближнем берегу:
Его сто лет никто не посещает...
Лишь на соседнем
скошенном лугу
Пастух лениво стадо собирает!

Кресты погоста кренятся давно,
В забвенье брошены могилы.
Живым потомкам,
видно, все равно,
Чья кровь струится
по их жилам!

Но каждому
определен свой срок,
Чтоб помнили о нем
и за него молили.
Таков погоста сельского урок...
А вы своих умерших
не забыли?!

5

Я здесь пишу не торопясь,
Не ощущая жара лета.
И с благодарностью крестьясь,
Я небу кланяюсь за это.

Мой старый дом упрятан в сад,
Он в вишнях и в кустах сирени.
По стенам вьется виноград,
Трава щекочет мне колени.

За огородом — блеск воды:
Там ночью плещутся русалки...
И шорохи на все лады,
И скрип покинутой качалки,

И стих Ахматовой! Он вдруг
Ночною птицей обернулся;
Произнесенный мною вслух,
Прочь улетел — и не вернулся!

Но одинока ль я? Ведь тут
И дети, и Одесса рядом,
И бесконечный книжный труд:
Мне счастья большего не надо!

Инна РУДИ

СТИХИ

Другу

Предвкушеньем, предверьем, предтечей
Был наполнен цветущий бульвар,
И плескался в кружении вечном
Зачарованный мир человеческий.
И была эта дивная встреча —
Словно в сердце внезапный удар.
И может промчатся сто тысяч веков,
Покуда пройдешь эти десять шагов,
И руки взметнутся в обгон высоты,
Как две раскаленных версты.
В дрожании намертво сомкнутых глаз
До капли истрачен последний запас,
Последний оплот потаенных вершин
Разверстой до боли души.
И мнится, что вся околесица лет —
Не ложь, не игра, не отчаянный бред,
И стоило так вдохновенно страдать,
Чтоб друга однажды обнять.

Я шла одна среди целого народа
Последних мудрецов...
И был сентябрь, и всё мне говорило,
Что красота и гибель поколений
Ради меня сегодня собрались
И так молчат, как будто вопль скрывают.
И пышный куст боярышника, кровью
Разбрызганных плодов почти сверкая,

Лада ПРОКОПОВИЧ Сансевьеры

Сансевьера трехполосая — *Sansevieria trifasciata Prain.* **Сем. лилейные. Травянистый многолетник с толстым корневищем, от которого отрастают крупные мечевидные, прямостоячие, жесткие, с темно-зелеными поперечными полосками на светлом фоне листья.**

— Сегодня два чужих мужа пали жертвами моих сансевьер! — заявила я собственному мужу.

Его реакцию представить несложно. Минуты три астрального зависания. Ну, во-первых, надо вспомнить, что такое "сансевьеры". Во-вторых, сообразить, как они могли так сильно подействовать на чужих мужей. И в-третьих, ЭТО КАКИЕ ТАКИЕ ЧУЖИЕ МУЖЬЯ?!

В общем, произведенным эффектом я осталась довольна.

Теперь надо было разгрести последствия этого эффекта.

— Если хочешь, я расскажу тебе все по порядку.

— Сделай одолжение.

Я уселась поудобней в кресло и, входя в роль Шехерезады, повела свой рассказ.

— Случилось так, что прослышали мои подруги о том, что у меня есть удивительное растение — сансевьера. И узнали они, что оно прекрасно подходит для оформления интерьера. И спросили они у меня, могу ли я поделиться отростками.

А Аллаху было угодно, чтобы именно в это время мои сансевьеры сильно разрослись, дав множество молодых побегов. Глядя на изумрудную зе-

лень этих длинных изящных листьев, поэт сказал:

Все чудеса Востока
не сравнятся с их красотой,
Как песни поэтов
не ранят своей остротой!

И другой поэт сказал:

О Аллах! Сохрани сансевьеру
которая нам дороже,
Чем золото высшей пробы:
и золото с нею схоже.

И третий поэт сказал:

Луна в небесах обнажается,
словно клинок,
А сансевьера, как женщина,
точит свой ноготок.

И четвертый поэт что-то там сказал... А я сказала — конечно, я дам своим луноликим подругам отростки своих сансевьер...

— Постой, — прервал меня супруг, — ты что, собираешься это рассказывать тысячу ночей?

— Нет, — поспешила я его успокоить, — надеюсь уложиться в одну. — Тогда продолжай.

— Короче, дала я два отростка Светке и два — Ленке. А у Ленки до сих пор не было ни одного цветка. Сам понимаешь — в общаге не до цветоводства. Но она увидела мою сансевьеру и сломалась. Взяла у меня отростки. Посадила их в красивый горшок, поставила на подоконник. Ходит мимо, любит. Один раз прошла. Другой. Чувствует, чего-то не хватает. Вечером говорит мужу — знаешь, папик, один цветок как-то не смотрится на этом окне, сюда нужен еще один.

Муж удивился, вздохнул, а на следующий день купил ей огромную дра-

Не зря склонился на краю могилы
И жадно пьет оттуда и от солнца,
Разлитого среди таинства аллей,
Где все тропинки убегают в небо.
И запах скошенной травы мутит сознание,
И нищие меня благословляют,
А сотни, сотни неподвижных глаз
С недоуменной строгостью глядят.
И я стою, всем сердцем вопрошая:
За что, за что мне это озаренье,
За что мне счастье, жгучее как ярость,
Терзающее жестче, чем беда?..
Ничто не вздрогнуло, ничто не шелохнулось,
Ничто пощады мне не посулило.
И, голову склоняя от стыда,
Я с сентябрем отныне примирилась,
И в том, что не было дано ответа —
И был ответ.

Когда из всех земных видений
Осталась только боль...

Приветствую тебя, достойная подруга!

Ты — кстати. Ты так вовремя пришла,
Как лишь друзья одни прийти умеют.
Пойдем, пойдем, нам нужно одолеть
Немало важных дел. Весну, к примеру.
Да, да, весну. Ты видишь, как она
Бесстыдно и бессовестно ликует
И нагло вниз таращится — а там
Кишмя кишат потерянные духом?..
Пойдем. Нам не к лицу смотреть на это.
И — знаешь? — мы пойдем с тобой легко,
Ни сердечком, ни судьбой не избегая
Всего того, что затаила жизнь

цену! Она поставила ее рядом с сансевьерой и поняла, что без третьего цветка им просто не обойтись. Теперь муж бегаёт по цветочным базарам и магазинам в поисках желтой розы!

— Да тебя убить мало с твоими сансевьерами! — проявил мужскую солидарность мой супруг.

— Понимаю, — согласилась я. — Но Ленкин муж, между прочим, еще легко отделался.

— Гм...

— Да. Потому что Ленка для своих растений купила керамические горшки, в которых обычно заранее делаются дренажные отверстия. А Светка купила пластмассовые горшки. Без отверстий.

— И ее мужу пришлось их делать, — проявил чудеса проницательности мой супруг.

— Точно, — подтвердила я. — Светка ему популярно объяснила, что и как нужно делать. Сказала, что лучше всего — нагреть большой гвоздь или отвертку и проплавить дырку. Муж, как человек восточный, поступил по-восточному. Он внимательно выслушал женчину и сделал все наоборот. Он подумал, что с нагреванием и прожиганием слишком много возни. А потому взял горшок, поставил его вверх дном, примостырил гвоздик и со всей дури лупанул по нему молотком.

— И горшок, конечно, треснул, — со знанием дела заметил мой муж.

— Ну, не весь... трещина прошла только по дну... Но Светкин муж имел что слушать!

— Могу себе представить!

— Нет, не можешь. Об этом можно только догадываться. Да и то весьма смутно. Судя по последствиям.

— А какие были последствия?

— О! На следующий день, желая компенсировать трещину в горшке и в семейном покое, он приволок ей целую коллекцию кактусов! Опять же, как восточный человек, он рассудил

Среди своих незримых преступлений.
Но вот моя последняя мольба:
Не покидай меня — и я тогда сумею
Без ужаса смотреть на странный мир,
В котором сильный человек рыдает,
Как малое дитя.
И вздрагивают плечи.

Ничто, ничто уж не страшит —
Дожить бы до утра.
И гордый сад своей души
Спасти от топора.

В тот миг, когда вы покаянную тенью
Потерянно ищите дух утешенья —
В смятении грешном,
С тоскою нездешней —
Скорее! — придите ко мне, безутешной.

Ко мне — безутешной, ко мне — сиротливой,
Ко мне — безнадежно,
безбрежно счастливой,
Мы сядем в молчаньи,
Без слов, без признаний,
И просто разделим немые стенанья.

Мы жадно друг другу посмотримся в душу —
И я этой бездны безумной не струшу,
В безумнейшем веке,
Где мы, человеки,
Столкнулись на миг — и простимся навеки.

— раз жена увлеклась цветоводством, то он для этого ничего не пожалеет! На! Бери! Еще бери!

— Ну, так это ж хорошо, — сказал мой муж.

— Ага. Если не знать, что Светка терпеть не может кактусы!

— Гм...

— Вот и я о том же.

Насладившись очередным эффектом, Шехерезада продолжала:

— Но и на этом приключения моих сансевьер не закончились.

— Иначе это было бы не в твоём стиле, — заметил супруг, уже ничему не удивляясь.

Я пожалла плечами, не найдя аргументов для возражений.

— На днях я выставила два горшка с сансевьерами на нашу лестничную площадку. Сегодня смотрю — одного горшка нет. Сперли!

— Значит, где-то есть еще одна жертва, — логически вывел супруг.

— Как минимум, — сказала я, пытаюсь представить, как еще чей-то муж делает дырки в цветочном горшке.

— Знаешь, — произнес мой муж после продолжительной паузы, — тебе надо запретить разводить эти сансевьеры.

— Ты это серьезно? — испугалась я.

— Серьезней некуда, — строго сказал муж.

Я с тревогой на него взглянула. Но заметив в его глазах лукавый огонек, успокоилась.

— А между прочим, — сказала я, — эти сансевьеры еще твоей бабушки.

— Как?!

— Ну, это не совсем те же самые растения... Но это их прямые отпрыски, от их корней. Представляешь, бабушки уже давно нет, а ее цветы растут! Размножаются... Думаааа ли она когда-нибудь, что в один прекрасный день ее сансевьеры взбудоражат половину Одессы?

Под натиском бабушкиной критики медицина сконфузилась и отползла в ближайший окоп. Там она встретила детскую диетологию, педагогику и этику семейных отношений. Все были бледны, подавлены и деморализованы. Над окопом взметнулся белый флаг.

Невестка на поле боя опять осталась одна.

Бабушка вскинула автомат, щелкнула затвором.

— Это легкомысленно, безответственно, безнравственно, без... без... — полетели в сторону невестки трассирующие пули.

— Но мы же не вливаем в него бокалами!

Молодая мама отстреливалась и оправдывалась, как могла. Ей даже показалось, что эту битву, хоть и с незначительным перевесом, выиграла она.

А на следующий день, когда родители мужа благополучно отбыли, она почувствовала, что у нее что-то плохо с сердцем... Рука потянулась за нитроглицерином. Там еще оставалась одна таблетка... Последний патрон — для себя.

Губит людей не пиво!

Этого дня в семье Энских ждали поразному. Муж с радостью и надеждой. Жена с волнением и тревогой, в полном боевом вооружении (валерьянка, валидол, нитроглицерин). Маленький Тёма — безмятежно, ничего не подозревая.

И этот день настал.

Приехали родители мужа.

Бабушка и дедушка сразу рухнули в бой. Первая лобовая атака оказалась на редкость оглушительной. Тема, не привыкший к столь редким гостям, разревелся так, что соседи стали стучать в стену. Но малыш плакал и плакал. Не принимал подарки. Дескать, не нужны мне ни вы, ни ваш плюшевый мишка...

Когда бой несколько поутих, противоборствующие стороны разошлись. Энские уползли на кухню, по пути подбрав раненых, а бабушка и дедушка остались в комнате, пытаясь куда-то пристроить знамя полка — плюшевого мишку. В доме запахло порохом и валерьянкой.

Немного погода Энские выслали парламентаря. В лице папы. Переминаясь с ноги на ногу, покашливая в кулак, он предложил дедушке:

— Ну, что?... Пока там готовится праздничный ужин... может, по пивку?

— Пожалуй, — оживился дедушка.

Тема, увидев, как папа открывает холодильничек и достает бутылку пива, радостно захлопал в ладоши:

— Пи! Пи!

— Вы даете ему пиво??? — ужаснулась бабушка.

— Да, — ответила Темина мама, бросаясь грудью на амбразуру, — но очень редко. И совсем немножко.

Однако бабушка не услышала ни "очень редко", ни "совсем немножко". Она продолжала на своей волне:

— Может, лучше давать ему соки? Это, наверно, полезнее...

— Соки мы ему тоже даем, — не то в шутку, не то всерьез выпалила мама и вышла из кухни, чтобы заняться сервировкой стола.

Бабушка, метнув осуждающий взгляд на мужскую компанию, вооруженную пивом и креветками, поняла, что здесь бой уже проигран. В этом партизанском логове не приходилось рассчитывать даже на пленных, не то что на убитых и раненых. Тогда она решила нанести удар по основным силам противника.

Не дрогнув перед зловещим блеском мельхиоровых ножей и вилок в руках невестки, она произвела очередной залп:

— Ведь пиво — алкогольный напиток! Я полагаю, Артему еще рано...

— Вот именно! — пошла в контратаку невестка. — Поэтому мы и даем ему совсем немножко.

— Но зачем?

— Для аппетита. Врач посоветовал.

— Врач?! Какой врач?

— Наш. Участковый.

— Не может быть! Что же это за врач такой? Что же это за медицина такая?! Конечно, я всегда знала, что нашей медицине нельзя доверять... особенно в последнее время, со всеми этими новыми веяниями...

Александр ДОРОШЕНКО

Фонтанский трамвай

*"Когда так много позади
Всего, в особенности — горя,
Поддержки чьей-нибудь не жди,
Сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
И глубже. Это превосходство —
Не слишком радостное. Но
Уж если чувствовать сиротство,
То лучше в тех местах, чей вид
Волнует, нежели язвит".*

Иосиф БРОДСКИЙ.

Днем у моря жарко. Оно лениво колыхается оловянной расплавленной лужей в берегах неба. В такую жару хорошо под развесистую клюкву и чтобы под рукой был холодильный бочонок с лимонадом или ромом. (В книжке моего детства, "Золотой ключик", был рисунок дерева, в тени которого начальник полиции пил лимонад, — там был нарисован летний полуденный зной, и рядом с деревом целый ящик запотевшего от холода лимонада — в детстве мне всегда покупали только половину стакана, а хотелось...) И чтобы не звонили телефоны и не прибежали всякие-невесты-с-чем.

А вечером хорошо гулять вдоль моря, по морскому песку, по самому краю моря, по окоему чернильной густоты ночи, в ее влажности и прохладе, чуть сторонясь набегающих волн. Слева сверху луна, ноги вязнут в песке и спотыкаются о выступы скал, за спиной тихо и пусто, разбежались поджаренные курортники и иная пляжно-дневная шушера. Тишина! Только волна лизнет тебе ногу, если достанет, и слышно, как поскрипывает в небе на своих подвесках луна. Благолепие, как называли это дело в России!

Как упоительны в Одессе вечера!

А на даче, на 16-й станции, стоит еще с довоенных времен домик из ракушника, в нем вечером прохладно и тихо. Этажерка старая, и на ее полках странным и случайным набором книги. Это как падают карты — случайно, и тем заманчивей. Журнал "Работница" и рядом "Старые годы". Вишни неубранные падают на неосторожную голову.

Ночью море всегда внезапно. Ты идешь рядом с ним, слышишь его шум, знаешь, что оно там, внизу. Но вот несколько шагов к нему вниз с высоты берегового откоса. Всего несколько шагов; там, наверху, совсем рядом осталась освещенная набережная, люди, деревья и все земное. А здесь холодная темнота, скалистый отблеск волн, упрямо и зло ложащихся на берег, отчуждение и тишина. Море громадное и живое, с ним рядом наедине страшно. Там, наверху, все привычно обжито, тротуар и люди, и ларьки, и выращенные людьми деревья, и высаженные ими в задуманном порядке кусты. Здесь ты временный гость, здесь можно посидеть в тишине, помечтать, поговорить с другом, если ты не один (но даже и говорить вы будете шепотом, чтобы никого не потревожить), а потом подняться и уйти домой, что бы это сейчас ни значило, гостиницу ли, ждущую машину, не важно, но все это твой дом, а здесь ты незваный гость, и лучше тебе не засиживаться. Там, наверху, на земле, даже небо и облака иные, они тебя уже не пугают, они приручены и привычны. И ты привык считать их обыденными и своими.

Облака над морем и небо над морем — это иная и вовсе не твоя жизнь.

Фонтанский трамвай

Счастье в неведении: если бы человек, никогда в жизни, ни разу не ехавший весенним солнечным утром на фонтанском трамвае в Одессе на наши Фонтаны вдоль всей волшебной длины Французского бульвара, мимо самых красивых в мире оград, не стоявший на задней трамвайной площадке с сигаретой у рта, облокотившись на руку, не слышавший запах сжигаемой прошлогодней травы и листьев, не видевший пеня птиц и особенный скрип трамвайных поворотов, человек этот, почувствовав и увидев все это, пусть ненадолго, и уяснив невосполнимости потери, немедленно покончил бы с собой, тут же бросившись под колеса пермской или воронежской безысходной электрички, если есть там такой транспорт.

Счастье в неведении.

*"В аллеях столбов,
По дорогам перронов —
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов;
Уже, окунувшийся
В масло по локоть,
Рычаг начинает
Акать и окаты...
И дым оседает
На вохре откоса,*

*И рельсы бросаются
Под колеса..."*

Эдуард БАГРИЦКИЙ.

Этот фонтанский трамвай бывает весной, в ее самом начале, солнечным неповторимым днем. Каждый из таких дней в твоей жизни будет всегда иным и особым. Если с тобой стряется беда, если ты так ощутишь происшедшее с тобой, плюнув на все, дойди до остановки этого трамвая, сядь в него, став на заднюю площадку, она открыта, там нет обычных стекол, в этот утренний час там нет въедливых одесских дам, и закури, когда он тронется с места. И где-то после Пироговской улицы, когда Город начнет отставать от вас, там, позади, начнут, постепенно затихая, теряться твои проблемы.

Сначала они будут все же возникать стаей гиен, расцветкой они, эти гиены, конечно, не рыжи, рыжий цвет благороден, они же, эти твари, цвет имеют отходов нашего земного бытия, они будут шакалей побейкой, подлой, исподтишка, гнаться за тобой и травмаем, вдоль рельс, несколько смогут бежать рядом, между рельсами (как когда-то шли лошади конки), а остальные по бокам колеи, отставая и забегая вперед (как в лихой маховской танчанке, несущей смерть), но он, трамвай, начнет набирать скорость, он стар и натружен колесами, но воз дух весны, но все запахи моря, но обольстительные тени деревьев, несущиеся вдоль его трамвайных обводов, но подлый вид этих догоняющих тварей придадут ему силы, и вы легко станете уходить, и уже на благословенном изломе Французского бульвара, у Маразлиевской дачи, вы потеряете их навсегда.

А дальше ты продохнешь, отпустит узел сердца, развяжешь галстук, если на тебе будет галстук, и подумаешь, что там, впереди, сейчас тебя встретят весение и еще пустые пляжи, что ты сможешь пройти по самой крайней полоске песка, мокрой еще от только ушедшей волны моря, ласковой уже и теплой волны. Потом ты сядешь первым посетителем на пляжное кресло в кафе и тебе принесут, что тебе улыбнется в это утро. Хорошо бы рому с лимоном (льда не надо, ведь еще холодно-то сидеть, и ветерок все же, выпей это безо льда, как единственное нужное тебе сейчас лекарство). И чуть погода подошедшая на тебя посмотришь официантка, не нужно ли чего, улыбнется тебе ответной улыбкой, ответной твоей, ни ей, ни кому другому не предназначавшейся улыбке.

А когда ты встанешь и не торопясь пойдешь вдоль наших пляжей, от фонтанской станции, где будешь, к Городу, идти тебе придется долго, минуя Аркадию, Отраду и Ланжерон. Под ласковым и холодноватым ветерком ты застгнешь наглухо плащ, укутав шею в кашне, руки в тонких перчатках сунешь в карманы и поднимешь воротник. Идти ты будешь долго, присаживаясь где-нибудь выпить кофе, чуть согреться в укрытом от ветра солнечном месте, станешь смотреть на крутизну высокого откоса из ракушника, и думать не будешь ни о чем.

Большой белый "пассажир", высоко сидя в воде, покинет порт и пойдет тебе навстречу, и когда вы, встретившись, разминетесь, боль уйдет. Просто вначале рядом с ней, чуть ее потеснив, появится теплый участком в груди мысль о далеком друге, потом памятью о будущем ты увидишь себя и друзей и вдруг вспомнишь давно позабытое в этих прошедших днях, что впереди, и уже скоро, праздник у друга, и увидишь себя рядом с друзьями. И вспомнишь, что была у тебя славная мысль, отложенная исполнением надолго, но вот сейчас хорошо бы вернуться и над ней поработать.

И ускоришь шаг.

Дачная наша жизнь

Утро. Солнце еще ласковое, оно не губит, но согревает продрогшие в ночи травинки кустов. Уже летает, трудолюбиво и недовольно о чем-то ворча, королевской расцветки толстенный шмель... Дачники пока еще нежатся в постелях... Так уютно — утро еще хранит прохладу, воздух — тишину... И звуки музыки, в умелых руках старый хорошо настроенный инструмент. Музыка стелется волной, сливаясь с волнами утреннего ветерка. Она отражается от листиков на деревьях за окном, прямо у твоего изголовья, и листик, которого коснулась музыкальная нота, начинает, радостно ускоряясь, кружиться, танцуя в глубине прохладного утра...

Я на этой 12-й дачной станции, нарисованной Феликсом Валлоттоном, жил. На самом ее углу трамвай опасно и круто сворачивал, уходя от моря, и бежал вдоль улицы Гаршина. И уже околицами добирался на 16-ю станцию, к конечной своей остановке. Когда-то он шел

вдоль моря, напрямую, но оползни заставили изменить маршрут. И теперь вдоль моря он бежит короткую стометровку от опустевшей (и теперь уже никуда не ведущей) Аркады на 11-й станции, мимо застроенных дворцами участков нуворишей, и только на коротком отрезке пути море совсем ненадолго открывается из трамвайных окон...

Продольная аллея нашего дачного кооператива шла параллельно улице Гаршина и выходила к морскому обрыву. По обеим ее сторонам покойно располагались дачи. Были они в те времена очень похожими. Как правило, одноэтажный из ракушечника дом стоял в глубине участка, иногда это был дом с мезонином... Весь дачный участок был в кустах и деревьях, и вдоль дорожек росли розы. Иногда, если позволяли размеры участка, среди густой травы стояла беседка на деревянных резных столбиках, крытая, с подвешенной наверху лампочкой и, проходя вечерней аллеей, можно было слышать смех сидящих за чаем людей, тихую музыку, а в высоте зелени клубился рой мошкар, летающей вокруг зажженной лампы.

В те годы дачи со стороны аллеи были огорожены высокими деревянными палисадами, и на калитках у каждой писалось имя хозяина. Аллейка эта была асфальтирована, имела несколько изгибов и в этих местах расширение, где вечерами образовывалось подобие площадки для общения подрастающих дачников, тех, кого уже не загоняли к девяти вечера домой...

Аллея была размечена столбами освещения...

Жила она, дачная наша аллея, однажды и навсегда заведенными правилами жизни. Ранним утром, когда солнечные лучи еще до нее даже и не добирались, а холодным золотом окрашивали кроны деревьев, первые и самые ранние купальщики устремлялись к морю. Считалось у них, что такие утренние купания "в самой еще чистой воде... в самом что ни на есть полезном раннем утреннем солнышке..." приносят особенное здоровье. Плескались они, отфыркиваясь от холодной еще воды, с вынужденными возгласами бодрости и веселья. И поднимались на свои дачи, где основное дачное население еще не вставало. И долго еще за утренним чаем эти бодрые купальщики корили своих нерадивых родственников за пренебрежение необычной радостью ранних утренних купаний. Были они, как правило, людьми уже в том возрасте, когда плохо спится. А те, которых они соблазняли, были молоды, ложились поздно и счастливо спали по утрам...

Основной дачный народ просыпался поздно, долго завтракал, собирался и выходил на море часам к десяти — одиннадцати. Шли с детьми, несли с собой сумки с подстилками и полотенцами, всякую резиново-надутую снасть для детей, мячи, ракетки... Шел вдоль аллеи небольшой такой караван, не торопясь шли бабушки, укрытые широкополыми шляпами и зонтиками, а впереди, в авангарде, весело бежали дети. И вся аллея звенела от их смеха. Они возвращались к обеду, размоленные жгучим солнцем на долгом и крутом подъеме, мокрые и нуждающиеся в отдыхе, тишине и прохладе. Толстые старые стены ракушника такую прохладу обеспечивали надежно. На дачах в те поры не было нужды в кондиционерах.

Примешь холодный душ, ляжешь в чистые прохладные простыни, блаженно вытянешь уставшие ноги...

И заметив, отряхнешь со щиколотки приставшую песчинку... И с первыми словами чудесной любимой книги — уплывешь в дальнее странствие — в сладкий покой сна.

Позже наступала всеобщая дачная сиеста — спало в истоме все население... Спали дачные собаки с хозяйственного двора, размоленные солнцем, бессильно распластавшись в самых теневых и прохладных участках аллеи, спали их благоустроенные кореша в тени деревьев на собственных дачах, спал дачный воздух, лишенный звуков... обвисали провода на столбах... низко к земле наклонились ветви деревьев, как бы в надежде найти у нее защиту от обрушившегося на землю безжалостного белого солнца...

Робкие тени прятались где кто может и боялись высунуться, и часто отставали от владельца, боясь выйти на солнце...

А уже в начинающейся вечерней прохладе, основательно пообедав, шли к морю самые умные. И те, кто только приехал из Города, с работы. Они оставались у береговой полосы прибоа до сумерек. Сначала купались, потом сидели на топчанах и говорили, играли в карты, закусывали. Постепенно они "утеплялись" прихваченными с собой теплыми вещами и свитерами. У морской воды быстро становилось прохладно и зябко. Возвращались они на дачи уже в темноте, долго и неторопливо шли вечерней и уже освещенной аллеей, встречали знакомых, останавливались поговорить у дачных калиток, не заходя, объясняя, что всего на пару слов, и стояли так час и больше...

А на темных дачных аллеях теперь был слышен молодой смех...

Наступала мягкая ночь, и прохладой веяло от разросшихся густых и высоких кустов. Пустой до утра оставалась длинная дачная аллея. Только изредка торопливый шаг задержавшись в городе дачника нарушал ее тишину. На эти шаги, откликнувшись спросонья, таякала собака, и какая-нибудь ей лениво и недовольно отвечала. Их голоса в покойной тишине ночи звучали ясно и громко. И вновь все замолало вокруг, только в вышине темно-синего неба чистым и мягким светом переливалась луна... Дачная, она была крупнее и чище городской... и тише. И вовсе не стояла на месте, но куда-то стремительно плыла в облаках...

Ночной ветерок освежал изнеможенные листья, ласково прочесывая густые кроны деревьев... Он подвораивал в открытое дачное окно, шелестел листами открытой книги, меняя в ней порядок и смысл написанных слов, и засыпающий в уютной постели дачник, отложив книгу, вслушивался в торопливые шаги и приглушенные голоса ночных загулявших знакомых, узнавая их и завидуя веселому тихому смеху, радости возвращения в дом, к ребенку, к объятиям, к самому счастливому сну, который нам был когда-то дарован...

(Была тогда на земле такая порода людей — возвращаясь домой дачными ночными аллеями, они говорили шепотом, чтобы никого не потревожить, — была и сплыла...)

Но иногда в ночной тишине вдруг, крадучись вдоль аллеи, сначала по ее пыльной дорожке и потом по листьям кустов и деревьев радостно и торопливо пробежал дождь. Он делал это крадучись, в боязни, что успеют остановить, но погода смелел, переставал прятаться, усиливался и внезапно начинал барабанить уже открыто, в полную силу по крышам и винтом громохат в водостоках...

Дачный, в разгар пляжного сезона затяжной и упрямый, самый сладкий на свете дождь. Аллея вся становилась в лужах, с густых ветвей сыпало уже отшумевшим дождем, они, отяжелев, наклонялись до самой земли... Становилось сыро и прохладно. Выходить из дому можно было только с зонтиком или в целлофановом капюшоне. И сигарету приходилось скрывать в кулаке — иначе она непрерывно гасла под моросющим косым дождем. Пляжи становились очаровательно пустынные, косые буруны в зловонной пене накатывались на пирсы... Приезжие курортники мучались в такие дни надеждой и все высматривали в обложном и глухом небе просветы, в надежде ложиться спать, а утром просыпались под монотонную песню дождя. Он только крепчал от их молитв и переживаний...

Оставалось лежать на веранде, укутавшись в старый и теплый бабушкин плед, и читать... Ну разве что сбегать в магазин, прикупить еды и чего-то вкусненького... Все было пропитано дождем, густая отяжелевшая зелень гнулась к земле, черной и тяжелой от влаги, вода лилась с зонтой, когда, сложив его, ты входил в магазин... Телефонов в те времена не бывало еще на дачах...

В мое дачное время, от этого 1904 года спустя лет семьдесят, на наших дачах мало что изменилось. Стояли те же самые стены и таими же оставались полы из простых деревянных досок... Сюда свозили мебель, устаревшую для быстротекущей моды, всякие дедушек-бабушек кресла, венские гнутые стулья, даже музыкальные инструменты бывали тогда на дачах, и играли на них ранним солнечным утром или в вечерней прохладе... и тогда гуляющие дачники останавливались послушать...

На некоторых дачах были камини, и в них вечерами зажигали огонь вовсе не для шашлыков или обогрева, но из благородной любви к живому огню — вечной нашей колыбельной песне...

Бесконечно далекие наши предки пользовались огнем, большинство, в целях утилитарных, готовить пищу и согреться, и лишь немногие из любви к горящему костру, к открытому и загадочному пламени огня. Они-то и приручили огонь для всех остальных, и именно они стали предками людей... от остальных произошло население планеты...

Самый Большой Фонтан

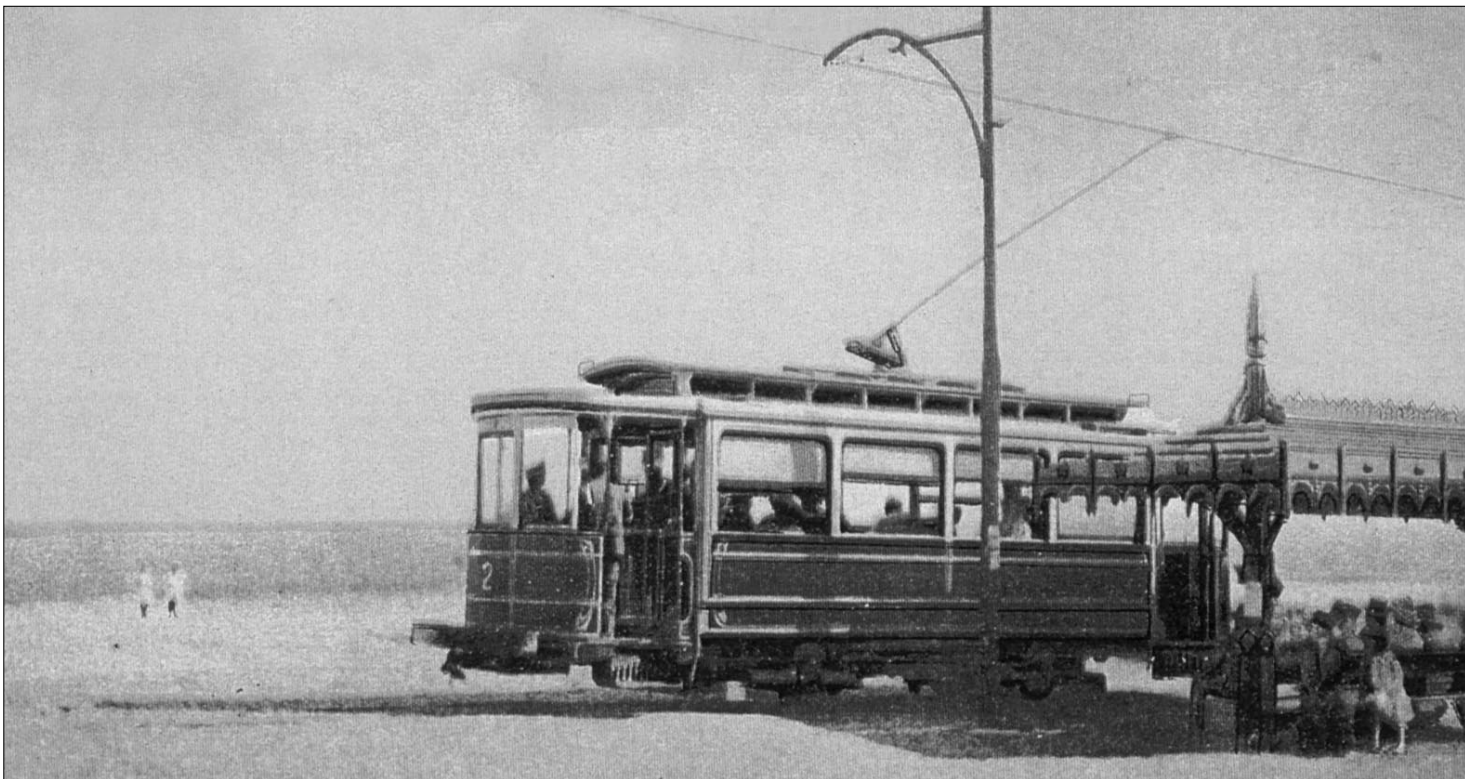
*"Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.*

Моя любовница рыжеволосая".

Владимир МАЯКОВСКИЙ.

Опустевший пляж, ночь, тянет от воды холодом... Луна висит над миром и подсвечивает гребешки волн. Нескончаема полоса песка у сарматской воды. Только шорох волны и в лунном свете за тобой цепочка следов на мокром песке...

Это место есть на полотне Ван-Гога, море и лежащие на берегу лодки. Помните ли вы, как плескалась волна о борт, как подставляла она свою холодную и влажную спину опущенной в воду руке, расчесывающим ее гриву пальцам, как быстро и прохладно бежала между ними вода, объемными живыми струями...



Одесса, Люстдорф. Станция электрического трамвая

Эту бухточку у Золотого берега на Большом Фонтане я теперь часто вижу. Она точно такая, та же береговая дуга, та же вода и камни. Мы, люди, их чуть потревожили. Прошедшее время нас всех на этом снимке, живых и бес- смертных, убило. У моря и камней время иное, и в нем секундная стрелка не успела еще даже дрогнуть. Когда мы уйдем с земли, здесь все станет первозданным, и последние наши следы слизнет с пляжного песка ласко- вая летняя волна...

Если тебя спросят, что было важнее для нас, колесо для телеги или лодка с парусом, не за- думываясь выбирай парус — мы и так умели ходить по земле, и новая скорость не измени- ла ее горизонтов, а вот море подарило нам вторую половину души и пространства зем- ли... И новое солнце, потому что морское солнце иное. Мы там другие — в море!

Я это помню мальчишкой. Так выглядел бе- рег на Отраде и дальше нее, разве что в Арка- дии эта первозданная картина прерывалась некоторой благоустроенностью. За ней и до Фонтанов, и на всех Фонтанах именно так и было: узенькая полоска диких пляжей, выне- сенного морем песка вперемежку с водорос- лями и торчащие всюду из песка камни... Осе- нью к этому добавлялся студень выплунутых морем медуз. Это было природным равнове- сием, договоренностью между берегом и мо- рем, ширина этой полоски и оставленные на ней морем и землей камни.

Рыбачьи плоскодонки занимали всю име- шуюся пляжную ширину. Весной лежали они сверху днищем и были обильно политы смо- лой, их подкрашивали, рисовали на борту имя и номер причала.

Пляжей, собственно, тогда не было. Лучши- ми и самыми благоустроенными были Арка- дия и Лузановка. Именно потому, что оба они лежали на уровне плоской земли, и не было необходимости к ним спускаться с отчаянной крутизны, а потом тяжело карабкаться вверх.

Уже при мне, юноше, пляжи намывали — ши- рокую песчаную полосу — и долго утюжили бульдозером склоны против оползней, пони- жая угол берегового откоса, и строили подпор- ные стены, а потом вдоль всей длины пляжей, в море, метров в пятидесяти от берега и ему па- раллельно, устроили подводную волнорезную стену, немного не достигающую поверхности и сглаживающую удары и мощь волн. И эту пляж- ную полосу расчленили пирсами, идущими в определенном ритме под углом к берегу.

Склоны берегов у наших пляжей теперь ис- кусственны, так не бывает с морем, и только покинув прирученные берега, выйдя за грани- цы городских пляжей, ты увидишь подлинную крутизну голых береговых откосов, отвесную, так что море, когда в старые времена на него смотрели с обрывов горожане, было не в от- даленной перспективе, но у ног, в страшной глубине падения.

Нам, мальчишкам, это никак не мешало. Считанные секунды длился сумасшедший бе- гниз по отвесным склонам. Вот ты стоишь над морем, так далеко от воды, и через несколько сумасшедших биений сердца и рвущего рот радостного крика падения твои босые ноги уже по щиколотку в воде. И ты отпрыгиваешь, смеясь, от ласковых с виду весенних волн — они еще полны зимнего холода. И так про- зрачна была вода в эту пору года, все в ней, самый маленький камушек, были видны, ка- мушек, лежащий на дне, синеврохлый и с крас- новатой полоской на спинке, как декоратив- ная аквариумная рыбка, а лежи он сто лет на песке пляжа, высохший, обесцвеченный, на него и не глянешь.

Такими мы стали сами, когда покинули ро- дившее нас море...

Близко у берега были развешены в объеме

воды роскошные медузы, хорошо видимые с пирса, непрерывно изменяющие форму и цвет, светящиеся изнутри. Природа в медузе определила разумное сочетание замкнутой формы с подвижностью ее границ. В начале времен наше тело было подобным, и когда оно вылилось в завершенность и конечность нынешних форм, мы утратили навсегда одно из необходимых измерений мира... Теперь нам уже не дано понять мир, в который погру- жена медуза, но только одну из сотен возмож- ных его проекций, а утраченное целое иногда открывается только поэту...

Это древний исходный принцип, с которого все началось. Стайки резвящихся мальков проносятся мимо медузы — они уже заключе- ны в твердую определенность формы, как и мы, люди, в тюрьму тела. Разрыв здесь в мил- лионы лет, а затем прошли еще миллионы, и живое существо впервые робко ступило на твердую землю, задохнувшись обилием воз- духа и солнца, и потом еще прошли миллио- ны. Но каждый раз, обретая новую форму, мы что-то важное теряли, забывая, что и чем оно для нас было. Пока не потеряли достаточно свойств, чтобы стать человеком. И тогда нам понадобился разум, чтобы справиться со сложностью мира...

И душа, чтобы этой сложности не испугать- ся смертельно...

А чуть подальше виден в воде огибающий камень стремительный краб. Но не достать. Да и не интересовались мы тогда привычными крабами, следя, чтобы не подставить ему под клешню босую ногу. Мы таскали со дна плот- ных головастых и таких вкусных бычков...

Летом мы, мальчишки с Молдаванки, приезжали на Ланжерон или Отраду, бросали грудой на песок нехитрый одежный реквизит и бежали, кто раньше, к морю, бросаясь в не- го с разбега, никогда не интересуясь заранее температурой воды... В ней всегда была ка- кая-то температура.

Обгорали мы до черноты, вначале лезла ко- жа и обгорала повторно, уже плотно и надол- го, выгорали волосы, и соль пропитывала ко- жу на всю следующую холодную половину го- да. Только шрамы белели на ногах, где осту- пилась она об острый камень...

Странно, пробыв весь день на открытом солнце, пропаленный им насквозь, именно по этой причине вечером ты замерзал, и чем больше в твоё тело днем входило солнца, тем холоднее ему бывало ночью. Солнце не столь- ко давало нашему телу, сколько лишало его чего-то и что-то брало себе...

А лодки несли имена на борту, в основном женские — "Оля", "Соня" и "Люся", и совсем исчезнувшие теперь "Клава". Они занимали целиком и без того малое пространство пес- ка, и устроиться полежать на солнце можно было, выбрав место между ними. А вокруг бы- ли канаты и цепи, черпаки и якоря, и остовы старых баркасов, как скелет облоданной ры- бы. Когда рыбаки подходили к берегу, мы бе- жали глянуть на их улов, сети и ведра, полные живого серебра...

А затем мы выросли и стали заниматься вся- кими серьезными и достойными взрослого че- ловека делами, вначале учились чему-то и как- то, потом делали ту или иную карьеру, науку, например, или иное, потом настигала нас се- мейная жизнь и многие годы работы, просто работы... поездок, знакомств, выпивок в каких- то чужих городах и широтах... театров по на- стоянию жены... А о море мы навсегда забыва- ли. И только когда приводили к нему впервые своих детей, мы что-то напоминали, загляды- вая в их удивленные глаза. С наступлением ле- та мы переезжали на дачу, там устраивали семью и с работы ездили ночевать уже иным летним маршрутом, на Фонтаны, например,

если дача была на Фонтанах. А к морю ходили редко, по утрам и ненадолго, искупаться, похо- дить вдоль пляжа, по щиколотку в воде...

Иногда, выпив с друзьями, приходили к мо- рю поздним вечером или ночью.

И тогда, присев на ребра топчана, закулив и слушая идущие от воды смех и голоса нераз- личимых друзей, вдруг мы что-то такое припо- минали, запах водорослей или крик испуган- ной чайки перед дождем, или дождь этот, за- ставший внезапно на открытом берегу и ус- певший все насквозь промочить, или утро пе- ред экзаменами в девятом, что ли, классе, ког- да почему-то перенесли на пару часов начало этих экзаменов, и мы успели смотаться к морю на Ланжерон и поплавать, и полежать на грею- щем песке, и съесть один на четырех, единст- венный у кого-то оказавшийся с собой бутер- брод — два толстых ломтя хлеба, намазанные густо маслом и вдавленные в это масло кру- жочки колбасы — и их оказалось ровно четыре — и песок хрустел на наших зубах, — смеясь при дележе бутерброда, мы его уронили...

И многие годы, всю жизнь, мы видели море случайно, живя с ним рядом, — видели с вы- соты Бульвара или проезжая Строгановским мостом, внезапно удивляясь открывшейся над впадиной Карантинной балки его синеве, жирафым шеям порталных кранов, трубам больших кораблей... Приезжие курортники много больше бывали с ним рядом. Но у них это было как в бане, пришел и помылся. Они просто принимали морские и солнечные ван- ны... Говорят, это полезно от геморроя...

Однажды в детстве волна успела добежать и лизнуть нас в сердце, и шум ее навсегда с тех пор остается с нами!

"С высоты центральной террасы спускалась мраморная лестница — патетически и церемонно — между стремительно расступающимися балюстрадами и архитектурными вазами и, широко растекшись по земле, казалось, отступала в глубоком реверансе, подбирая свой пришедший в беспорядок наряд"
Бруно ШУЛЬЦ.

Обезображенная временем и небреже- нием, замученная, подмазанная глиной и из- вестью, ошельмованная и осиротевшая, наша красота и гордость...

Самое начало века. Дачный модерн. В нем много воздуха, открыт он к морю широкими верандами, там широкие ступени, идущие многомаршево, в прямую линию или полукру- гом, и приотливно развешенные в высоте дома балконы... К морю, если дача стояла над обры- вом, дом открывался просторной верандой. Устраивали над домом высокую смотровую башню, с высоты которой открывалось море и побережье. Эти дома жили на раздолье, они стояли в центре больших участков земли, над береговыми откосами... рельеф местности здесь сохраняли первозданным, и по этой причине их окружало такое множество террас и лестниц... Вокруг шумел сад, настоящий, а не фруктовый. С моря фонтанская земля была зеленым ковром на береговых высотах...

Там были устроены уютные "тайные" гrotты из дикого камня с вымытыми природой стол- бами и глубокими пещерами (но позади тако- го грота высится заросший высокими трава- ми холм).

Их территории в советское время стали са- наториями и домами отдыха. Настроили там дополнительно зданий для роста помещитель- ности. Строили их как придется и когда выде- ляли деньги, и поэтому все черты советских стилей, от сталинского "ампира во время чу- мы" до убогих хрущевков, изувечили сады и пар-

ки... Господский дом превращали в админист- рацию и лечебный корпус. В таких санаториях была большая столовая, клуб, где вечерами крутили кино, и библиотека. Надо сказать, что таких библиотек не бывало в мире — вся миро- вая классика там стояла на полках, переведен- ная на русский язык великими мастерами сло- ва. Непременная танцплощадка круглой фор- мы с эстрадой для оркестра (в те годы играл "живой" оркестр, и чаще всего танцевались вальсы...). К морю вела аллея с клумбами, пол- ными свежих утренних роз... Была непремен- ная будочка экскурсионного бюро, и привлекали отдыхающих экскурсоводы поездками по Горо- ду или в катакомбы. Вечерами курортники ез- дили в оперный театр. Еще были "массовики- затейники", и они вечно выдумывали какую-ни- будь глупую игру, и ко всем с нею приставали. Стояли столбики с указателями, где, что... и на асфальте были стрелки с надписями о гигиени- ческих маршрутах под №№ 4 и 7.

До революции на этих дачах было много скульптур, девушек мраморных и львов. Про- летариат перенес их на городские площади, и там их судьба сложилась печально, они почти все исчезли. Но в сталинское время начали вновь населять эти санатории культурой, и по этой причине там выросло новое поколение в гипсе и цементе сделанных произведений скульптурного мастерства, крашенных ежегод- но масляной краской, в основном это были безобидные зверушки, так казалось спокой- нее в выборе сюжета в это непростое сюжет- ное время, козлики и барашки, но и пионеры с горным и поднятыми на косую руками, мальчик и девочка или две девочки, а в центре мальчик; счастливая мама с дочкой... мужчин изобража- ли редко. Пропеллерный летчик в шлеме или шахтер с отбойным молотком. До 1953 года в центре клумбы стояла кушетка, и сидели на ней в любовном внимании друг к другу Ленин и Сталин, но позже в этой композиции Сталина заменил Горький. Еще мог стоять пышноборо- дый и требовательного вида Маркс, как и до сего дня он стоит в санатории "Черное море" на 13 станции Фонтана, на центральной аллее лицом к морю. Одет Маркс был не по-пляжно- му вовсе, в сюртуке над жилетом, и дополни- тельно нес перекинутый через руку плащ.

В таких санаториях отдыхала моя мама. Я приезжал к ней на велосипеде с Молдаванки. Восхищались ее новые знакомки, какой взрослый уже я мальчик... И я гордился своей красавицей мамой, она всегда была всех кра- сивее... и ее везде любили...

Там было чисто и красиво. Праздничные красиво одетые люди, на отдыхе... И вокруг накрытое густой зеленой кровлей деревьев было море фонтанских дач. Маленькие участ- ки земли, небольшие домики из ракушника, деревья. А с высоких обрывов открывалась ровная чаша моря и идущие вдоль берегов фонтанские прогулочные катера.

Теперь эти санатории и дома отдыха — ос- тавшиеся островки еще не поделенной терри- тории Фонтанов. Они со всех сторон окружены дворцами нуворишей с красными черепичными крышами, не по-дачному многоэтажными, за высокими глухими заборами. Дворцы эти сте- реотипны, по-наглому высоки и обширны, съе- дена ими вся зелень деревьев, чтобы большей была жилая их площадь... Нарывами этих строи- ний покрывалась фонтанская земля... А здесь господствует запах нищеты. И обреченность...

Фонтанская дача на самой 16-й станции, ставшая санаторием имени Горького... В саду стоят знакомые лвы, копия семейной пары с детьми из городского сада на Дерibasовской (эта дерibasовская парочка стояла на даче Г.Г. Маразли на Французском бульваре), фон- тан с мальчишками, держащими пойманных рыб, рыбы с бесстыдно задранными хвостами (как у фонтанного памятника Александру Сер- геевичу)... и балюстрада с толстенькими бая- синами, разбежавшаяся широкими дугами по террасированному склону от господского дома к саду. Она обгаеет фонтан и дом, расставлены на столбиках уцелевшие и подмазанные гли- ной вазы, подбеленные многократно извест- тью... И все фигуры и вазы окрашены дешевой золотого цвета, для красоты...

Здание дачи стоит фронтом к морю, к мор- ским и суровым зимним ветрам... к летней обольстительной тишине... а за ним, отгоро- женный его телом и защищенный руками ба- люстрад, внизу плещется зеленый обольсти- тельный сад... Широкая веранда выходит к морю. А над зданием высоко поднимается сторожевая башня, квадратная формой, с зубчатым, как положено, верхом.

На самом краю откоса устроен фонтанчик... Великолепный овал чаши, из дикого камня выложен холмик, на котором что-то стояло, и окружен он бегущей строккой балюстрады из солдатиков-баясинок. Фонтан отстранен от дома, окружен зеленой травой под деревья- ми, там тихо журчала вода (в чаше фонтана лежат пустые бутылки и разбиты балюстрад- ные чаши...).

Но так тихо там, под кронами старых дере- вьев, так уютно, как на кладбище, где лежат близкие тебе люди, с которыми в этой тишине можно поговорить... Только море шумит не- уютно глубоко внизу... только остов разби- того бурями корабля, уже без команды... став- шего добычей туземцев.

Вера КАЛМЫКОВА

«Мы ничего не ищем, но зато многое находим...»

ФЕНОМЕН МИХАИЛА ЛЕВИТИНА

"Нет, мама, ты еще не знаешь,
я хочу быть клоуном!
Но клоуны должны все уметь,
а ты даже раздеться...
Я буду уметь все!"
Михаил ЛЕВИТИН.
"Псих и мелочевка"

Театр "Эрмитаж" существует в Москве больше тридцати лет. Его возглавляет Михаил Захарович Левитин — режиссер и писатель, уроженец Одессы, представитель "одесского десанта" на московской земле. Меридиан "Москва-Одесса" за истекший век нанизал на себя писателей, поэтов, художников — начнешь перечислять и не закончишь, и все равно кого-то забудешь. "Эрмитаж" неоднократно пытались спалить (здание в центре города дорогого стоит, можно сделать ресторан, казино, заработать кучу денег, а тут — театр...), а Левитина — сместить или попросту убить. Когда ему предъявили последний по времени ультиматум, он сказал: "Левитин здесь и никуда не уйдет".

Еще он сказал: "Когда тебя убивают, надо кричать об этом..."

И еще: "Я хочу быть клоуном..."

Критики то любят, то не любят; зрители то ходят, то не ходят. Со стороны посудить — нормально: вдох — выдох, устали — отдохнем. Но ведь театру нужно, чтобы его любили; *всегда* любили. И я хочу понять, а что дает человеку силу всегда, при любой жизни, оставаться одним и тем же — самим собой? *Театральному* человеку, зависящему (стократ больше прочих!) *от любви*? От внимания: вот я сделал. Ты понимаешь, про что это? Нравится тебе? Нравлюсь я тебе? Нравлюсь?!

Должен же быть какой-то тыл...

Дух реет, где хочет, и иногда оседает где-то. Он избирал Грецию, Флоренцию, Англию. В начале XX века он избрал Одессу. Из Одессы уезжали в Питер, из Питера — в Москву. Недаром московская и одесская живопись так схожи. Левитин впитал в себя Одессу.

"Кто-то сказал мне: "Ты любишь Латинскую Америку, потому что это большая Одесса". Возможно, это и так... Одесса — это море. Море сделало очень много, создало отдаленность от всего мира. Город на отшибе империи. В Одессе есть иллюзия свободы, а она порождает надежду. И надежда эта держится очень долго, заставляя тебя проявляться, осуществляться". (Михаил Левитин: Я друид по натуре. — Театральный курьер № 7 (53)/2002.)

...Город — белый и золотой, как Рим, как Иерусалим. Здорово, когда в городе слышно, что сегодня на море. Ухо так наставишь — ага? Ага? Шторм — бабах волны, бабах, это значит, балла два-три, а если четыре — то прямо гул такой: бу, бу-бу, бу-бу. Было так: если в порт кто-то идет, более-менее приличный теплоходик, обязательно гудит — два-три раза, когда заходит, и один длинный провожает или его провожают. И слышно — один длинный, кто-то от нас уходит... Такой звук...

...Софья Израилевна, шестидесяти пяти лет, весом в центнер, медленно, как дальнбойное орудие, поворачивающаяся на синих от вспухших вен ногах. "Вы уже были на море?" — "На море мы были в Ялте, а здесь смотрим город". — "Разве море в Ялте? Разве в Ялте — море?! Что вы мне про свою Ялту! Вот у нас — это море..."

Свобода или иллюзия ее, в конце концов, неважно: человек живет в себе, а уже потом во внешнем мире. Свобода оказывается способной внутри человека побеждать "слишком человеческое" — профессию, например. Левитин — жесткий режиссер с богато развитыми задатками деспота, но каждый его спектакль — триумф актера: Дары Белоусовой, Юрия Беляева, Александра Пожарова, Юрия Амиго, Ольги Левитиной, Владимира Шульга — и... и здесь надо перечислить всю труппу, поименно, причем не только сегодняшнюю — всех за тридцать лет. Если бы

можно было выделить что-то "главное", то это выглядело бы так: он умеет из всего, точнее, из ничего, сделать эмоцию, причем открытую и очень сильную, и ту, которая ему, деспоту, нужна. Он действительно делает — и со зрителем, и из зрителя — то, что хочет; эмоция возникает вдруг, спонтанно, он ничего не делает, чтобы ее подготовить, вырастить в зрительском ощущении спектакля, и потому выходит: страх — значит ужас, смех — значит до икоты, до дрожания под ложечкой и внутренней мольбы: пощади, не могу больше. Вдруг среди общего веселья в спектакле "Под кроватью" на сцене склунится фантом, вдруг станет по-достоевски страшно, зияющая пустота приоткроеся на мгновение и... столь же неожиданно схлопнется, и снова бух, буфф и всеобщий хэппенинг. Взрывы цветного конфетти обернутся внезапным столбом белого снега, который на страшноватый миг так скроет одинокого персонажа, что на секунду забудешь — снег-то бумажный, то же конфетти, что и минуту назад... Почему вдруг страшно? А Левитин его знает, почему, но страшно же!

Вдруг в "Суер-Вьере" произнесется со сцены: "Сижу здесь с шестью грудями, а всякие идиоты ходят мимо!" — и распадется пола, и зритель замрет: щас покажут! — а покажут только персонажам, а те ахнут так, что вместо обиды за обман зрительских ожиданий — смех в зале. Чему смеетесь? Над собой смеемся, ура! И каждое движение актера в первом действии "Суер-Вьера" вызывает смех — гомерический...

Вдруг вылетит в "Изверге" из-за кулис маленькая обезьянка в черном фраке, и пролетит над залом бессловесной метафорой последнего года жизни Пушкина, который считанные разы, да и те на минуточку, на минуточку появляется на сцене...

Интеллектуал, писатель и тиран, Левитин — порождение низовой одесской культуры, прежде всего речевой, что рождается только в уличных, всегда спонтанных разговорах. "Скажите, пожалуйста, — спросит одессита приезжий, — как пройти..." — "Идете по переулку, сворачиваете, сворачиваете и выходите — а вы яичницу кушали?" Стой, приезжий, и вспоминай — то ли пройди тебе надо, то ли губы обтереть...

А видели ли вы грушу бэра, чьи плоды так вкусны, что охранять их посажена Инна Львовна, которая сама с качалки по преклонным годам своим уж не встанет, и посему на посту сидит крепко? А слышали ли вы крик ее, доносящийся аж к побережью, когда хитроумные мальчишки находят способ — с балкона соседнего дома — вкусить запретных плодов? А встречали ль вы на крыльце дядю Павла, зятя Софьи Львовны, разбуженного сиреной тещи, почесывающего со сна мягкий живот свой: "Мама, ну зачем так нервничать?"

А неразвиванных подруг, Ирину Рафаиловну и Галину Эммануиловну, звали ли вы? Тех, что друг без друга жить не могут и ругаются насмерть каждый день? Одна живет над другой и каждое утро вывешивает, как флаг, свое нижнее белье, а снизу — ах, какой голос: "Ирка, сучка, опять твой лифчик течет на мои петунии!"

А семейный скандал, разыгранный по всем правилам оперного искусства, да что там — оратории, слышали вы? А могли бы попробовать сделать спектакль, в котором эти звуки сотрясали бы подмостки, отдавались под сводами зрительского зала и улетали бы туда, куда божественные мелодии ораторий улетают, унося за собой человеческие сердца?.. Не пробовали? А Левитин это делает...

Из уличных разговоров рождается ритм левитинских спектаклей и дух музыки, которым они проникнуты и который порой актеров приводит в труппу. Каждый спектакль — партитура. Ритм, по-скрябински понятий, спонтанный, как пластика человеческого тела, и четкий, как вдох-выдох-вдох. Так "Суер-Вьер" построен на музыке Фрэнка Синатры, отделяющей "плавание в море" (вдох) от "прибытия на острова" (выдох): Остров Голых Женщин, Остров Валерия Борисевича,

Остров Посланных На..., Остров Теплых Щенков... Персонажи последней повести Юрия Коваля и спектакля Михаила Левитина плавают по жизненному морю в поисках Истины, которую находят, погладив теплое щенячье пузо...

...живой щенок, живой голубь (он, прошу пардона, во время спектакля "Изверг" живет полной жизнью, со всеми вытекающими — оттуда, вы сами догадайтесь, — последствиями), живая вода (имеется в виду — мокрая, а в каком смысле вы думали? — заливающая, как и положено воде, во время спектакля "Суер-Вьер" первые ряды партера, зимой рекомендуем садиться подальше), живая музыка в спектаклях. А рядом свобода — или иллюзия ее?

К иллюзорности собственно театральной Левитин подходит с той же жесткостью, сколь и ко всему остальному. Почти любой спектакль держится на одном предмете, организующем действие: в "Зойкиной квартире" это занавес, в "Изверге" — то ль кибитка, то ль карета, встречающая зрителей еще в фойе, в "Суер-Вьере" — круглый, похожий на зиккурат "остров", в "Под кроватью" — скучно даже говорить, кровать, в "Белой овце" — окно, лежащее на полу, в "Анатомическом театре инженера Евно Азефа" — кукла Азефа, дублирующая персонажа, сыгранного Ю. Беляевым. В тяжелый момент истины, раскрывая перед зрителем темную душу свою, Беляев-Азеф настоящим (чуть не сказала "живым") топором разрубает бедняжку на составные части, и — ах, как неприятно отрубленной рукою по уху получить!..

А получишь, сидящий в нужном месте в нужное время, ибо силен накал страсти актера, выплывающего из себя персонажа — всю его ненависть, все презрение презренного, предателя, двойного агента, нарицательного для истекшего века. Презрение к тем, кто, чистенький, никаких страстей не знает, а его хочет судить, да не обычным судом, а — историческим! Поживи-ка — потом суди!.. Страсть — не иллюзорна: так Идалия Полетика ("Изверг", О. Левитина), неудавшийся мужчина, неслучившаяся кавалерист-девица в красном, свобода на баррикадах, болонка-перестарок, курица, леди Макбет — то мерзнет, то мокнет, бедняжка, — так она ненавидит Пушкина. И зал обмирает от этой ненависти, оседающей на зрительских плечах, как мешок с тяжелой, душной пылью...

Азеф и Полетика — герои пьес, написанных Левитиным для "Эрмитажа". "Сказать, что писать про Азефа и Полетику приятно, — нет, но интересно и *правильно*" (Левитин, 16 ноября 2004, вечер в Литературном музее).

Начав о сценическом предмете, я продолжила — почему бы? — сценической эмоцией: чувственный мир Левитина предметен, как в поэзии, в литературе, который он — как никто, может быть, из современных режиссеров — верен. Любое психологическое состояние воплощается и направляется, фиксируется. Зритель волен ничего, кроме кровати или кареты, не видеть и не слышать, но и тогда он уйдет, унося с собой эрмитажный мир. Меж тем предмет-доминанта организует вокруг себя движение на сцене и сценическое пространство: оно не бывает у Левитина многозначительно-глубоким, уводящим в какую-то "даль" или, упаси Господь, "жизненную перспективу". Никакой многозначительности, низидания: все либо по кругу, либо — вправо-влево. Жизнь на сцене течет, как жизнь, перед глазами: разве мы способны, живя, понять, что уходит в перспективу, что остается на поверхности? Роскошное женское тело в "Под кроватью" рифмуется с синеватым туловищем голой мексиканской собакой — получите-ка. При этом бутфория проста и незамысловата: резаная бумага в "Суер-Вьере" — конечно, опять деньги, длинная труба с утолщением на конце — конечно, кое-что, вовсе не сказочное и не менее приятное от этого. Доходчиво, как светофор. И никаких тебе отстранений или, чего доброго, отстранений. От странностей отстранимся.

ровского исторического музея имени Д.И. Яворницкого (фестиваль был посвящен 150-летию со дня рождения этого выдающегося деятеля украинской истории и культуры) откликнулось семьдесят (!) музеев.

В течение пяти дней 180 научных сотрудников из всех уголков Украины подтвердили девиз фестиваля "Музей третьего тысячелетия". Разнообразие выставок, фильмов, научных, популярных, рекламных изданий, мультимедийных

И тем глубже пойдем парадоксальность мира и чудо, что довелось находиться в нем. Парадокс — любимая фигура, которую Левитин так или иначе отыгрывает в любом спектакле, любимый прием любимых Левитиным обэриутов. Сколько от Заратустры есть в героях Хармса? Сколько от Ницше в Левитине?.. Рождение балагана, абсурда из духа музыки и речи. "Жизнь есть трагедия — ура!" — не знаю, приписано ли Бетховену или сказано им, но пусть.

...Спектакль "Белая овца". Гуляла Белая Овца — девочка с золотыми волосами. Надо чуда. Надо чуда. Чулки. И хватит, и больше, кроме чулок, не надо ничего, потому что это и есть жизнь, и это тоже, и кто станет утверждать, что не вся в этом жизнь?! И даже если кто станет — не верь, откуда ему знать. Не надо извлекать содержание, толковать знаки. Только жить — это и есть содержание. И если ты не ищешь, то находишь стократ.

Все ловят человека. Кто ответит — это грех или добро? Добродетель скучна, зло неистребимо? Есть чудотворец, который живет в наше время и не творит чудес (Сакирдон, Александр Пожаров). Есть мысли — красная, желтая, две серые, две белые — шевелятся, прыгают, античный хор в движении. Смешно или страшно? Я хочу быть клоуном. Из голого натурализма возникает гипербола. Но даже и трагическое — тоже игра, поэтому нет чистого жанра — вот он и Хармс. У этого действия не может быть конца. Нет людей верующих и неверующих. Есть те, кто желает верить, и те, кто желают не верить. Бессмертие может быть только личным: человек пляшет и поет перед скинией, и песня его бессловесна. Жертвоприношение. Хармс — патология родной литературы, реакция на русскую классику и на символизм впридачу, на то, чем они публику перекормили.

Что враждебно "Эрмитажу" — так это декоративное, орнаментальное начало. Сцена всегда остается полупустой, недозаполненной. Нет тесноты: свобода или иллюзия свободы, не так уж важно. На самом деле, конечно, это балаган, где каждый предмет единственен и абсолютен в своей предметности и не существует как устойчивый знак, понятный до и вне спектакля. Знаки создаются здесь и сейчас, и эта семиотика — общая для зрителя и театра. Любая незавершенная мысль, сыгранная на сцене, превращается в такой интимный, объединяющий знак: Я — кровать... Я — остров... Нет ни лишних деталей, ни (к черту) подробности, но зато спектакль (ту же "Белую овцу") Левитин строит так, что одна и та же сцена в его начале или в финале может быть повторена им дважды и трижды, и каждый повтор — вот она, театральная риторика, — "заведет" зрителя так, что в дальнейшее действо он ворвется уже, как в выдох после апноэ. И дух у зрителя замирает, и сидит зритель, сидит как маленький. И голуби какают на головы — памятник там, не памятникам, — а памятники ходят себе, превращаясь из императорских в поэтические, нерукотворные, и не поймешь, кто на самом деле кому на голову покакал...

"Мама, я хочу быть клоуном... Я буду уметь все!" В полном согласии с любимыми словами из Талмуда — про то, что не время проходит, а мы, — Левитин научился непроходящее время создавать. Не только с помощью писательства, воскрешая то 1920-е, то собственное детство; но и средствами театра — самого эфемерного, самого недолговечного из искусств.

"Театр и есть бессмертие. Как ни странно. Это такой воздух. Театр эфемерен, но он соответствует движению жизни, а это и есть бессмертие". (Михаил Левитин: Я друид по натуре. — Театральный курьер, № 7 (53)/2002.)

Такое незавершенное и никогда не завершаемое настоящее. Звук, ушедший в никуда, на самом деле уходит в вечность, легкое дыхание возвращается в круговорот общей праны, вся брэнность и есть вечность, и они вовсе не противопоставлены, просто брэнность — единственный путь в вечность. Поэтому, когда Левитин пишет о том, что лично тебе близко, ты понимаешь, насколько он точен. Когда же это не твоя проблема, и ты можешь и хочешь быть внимателен к другому человеку, ты понимаешь, что он сообщает о себе все то, что ты сам не сообщил бы никому. Он незащищенный человек и не хочет быть защищенным — огромная сила. Ему просто не надо защищаться: все, что он забрал из нас, украл, вытянул, все чувства, которые, тиран, присвоил, — дороже защиты, дороже самосохранения.

Все-таки он стал клоуном.

Москва.

Елена КАРАКИНА

Фестиваль музеев

Первый, возможно не последний.

Среди анекдотов новейшего времени есть и анекдот о том, что с музейных сотрудников следует брать деньги за вход в музей, где они слу-

жат. Первый Украинский музейный фестиваль, состоявшийся в начале ноября, служит подтверждением этой остроумной, хотя и не слишком веселой шутке. На приглашение Днепропет-

Редактор Евгений ГОЛУБОВСКИЙ. Коммерческий директор Леонид РУКМАН.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за точность сообщаемых фактов несут авторы. Взгляды редакции не всегда совпадают с точкой зрения авторов.

Дизайн и компьютерная верстка: компьютерный центр ТИА "Вікна-Одеса" (тел. 23-13-60).

Регистрационное свидетельство N 508. Тираж 1000. Заказ N _____. Газета отпечатана в типографии "СІЧ".

Адрес редакции: 65014, Одесса, ул. Маразлиевская, 7. Тел. 724-01-35. www.odessitclub.org.